

ВРЕМЯ ИДМБТ 94 1987



СОВЕТСКИЕ АМБИЦИИ
РОБЕРТ КАЙЗЕР: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Тринадцатый год издания.

Выходит один раз
в два месяца

94
1987

НЬЮ-ЙОРК-ИЕРУСАЛИМ-ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1987

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДЖОН ГЛЭД	МОРИС ФРИДБЕРГ
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОГЕН	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЛЕВ НАВРОЗОВ	ЕФИМ ЭТКИНД
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК	

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX. FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

<i>Давид ФРИДМАН</i>	
Мендель Маранц	5
<i>Фридрих ГОРЕНШТЕЙН</i>	
Шампанское с желчью.	48

ПОЭЗИЯ

<i>Михаил КРЕПС</i>	
Сотни остановленных мгновений.	90

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА

<i>Роберт КАЙЗЕР</i>	
Советские амбиции.	101
<i>Горбачевская утопия на ниве юстиции</i>	
Вокруг одной статьи в "Литературке".	120
<i>Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ</i>	
Три лика Израиля.	134
<i>Ефим ЭТКИНД</i>	
Забота человеческого духа.	150

В МИРЕ КНИГ

"Толстые" журналы в эмиграции и в СССР.	170
---	-----

ПОЛЕМИКА

<i>Евгений МАНИН</i>	
Страх перед родиной.	183
<i>Ефим МАНЕВИЧ</i>	
Правда истории и эпатаж Евгения Манина	199

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

<i>Петр НИЛЬСКИЙ</i>	
О тех, кого я знал	207

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

<i>Александр ЩЕДРИНСКИЙ</i>	
Символы и дух художника	244



Давид ФРИДМАН

МЕНДЕЛЬ МАРАНЦ

"БЕСКРОВНАЯ ШУТКА" ДАВИДА ФРИДМАНА

Истории этой книги сопутствовало много легенд. Впервые вышедшая в 1926 году в Нью-Йорке по-английски, она сразу же была переведена на многие языки, в том числе на идиш, польский, русский и немецкий, и в странах с большим еврейским населением книга стала моментально бестселлером. Русское издание книги также богато легендами, окружавшими ее появление. В России она вышла в трех изданиях, в 1927 году (изд-ство "Библиотека "Огонек", изд-ство "Пучина" и изд-ство "Современные проблемы"). Дважды книга появилась по-русски за рубежом — в Риге (1930 г.) и в Варшаве (1931 г.).

Считалось, будто бы автор родился в русско-еврейской семье и эмигрировал после революции 1905 года в Нью-Йорк. Сюжет романа прост и незамысловат, без каких-либо важных событий, но весь он пронизан образными колоритными шутками в духе русско-еврейского юмора начала века, как бы продолжающего традиции Шолом-Алейхема и даже развивающего их.

По словам известного русско-еврейского публициста Давида Шуба, в конце двадцатых — начале тридцатых годов эта книга, называемая (в отличие от широко известной "Кровавой шутки" Шолома Алейхама

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

ISSN 0737-7061

"бескровной шуткой" Давида Фридмана, была подлинным народным бестселлером. Ведь тогда каждый второй житель Нью-Йорка говорил на идиш или по-русски. Несмотря на это, автору настоящей заметки было очень нелегко собрать хоть какие-то биографические подробности о жизни сочинителя "Менделя Маранца": ни в каких крупных энциклопедиях и словарях не было нужной информации.

Давид Фридман (1898-1936) родился в Трансильвании в семье небогатого еврейско-румынского журналиста и в годовалом возрасте с семьей эмигрировал в Америку. В юности он решил идти по стопам отца, став в 16 лет английским редактором газеты "Джуиш дейли ньюс", издававшейся в Нью-Йорке. В 1918 году окончил городской колледж. В 1919 году получил степень магистра философии в Колумбийском университете. Используя свой жизненный опыт в еврейском районе Ист-Сайда, Давид Фридман опубликовал в 1922 году первую часть своего романа "Мендель Маранц", который, собственно, и стал книгой его жизни. Кроме этого им написаны несколько пьес и скетчей для нью-йоркского радио. В соавторстве с другими писателями он издал несколько биографических книг, таких как "Моя жизнь в твоих руках" (1928 г.), "Фантом славы" (1931 г.), "Зигфрид, великий восхвалитель" (1934 г.)

Григорий ДАВЫДОВ

ВОССТАНИЕ ЗЕЛЬДЫ

Каждому нужны деньги. Деньги! Что такое деньги? Болезнь, которую каждый хочет схватить, но не распространять. Не унывай, Зельда! Придет еще и наше время! Я еще буду домовладельцем на Риверсайд Драйв.

— На кладбище! — сказала Зельда с горечью.

— Не падай духом, — сказал Мендель, прихлебывая чай. Ты никогда не можешь знать наперед! Что такое жизнь? Качели.

— Подохнешь с голоду! — Зельда свирепо налегала на рубашку, которую стирала, и вдруг быстрым движением она отбросила стирку и подбоченившись повернулась к Менделю.

— Хочешь, чтоб я молчала? Стой, как дура, у корыта с утра до вечера; работай, как лошадь; стряпай, стирай, шей, штопай. Ради этого я бежала с тобой из дома отца? Ты женился на мне или взял меня в прислуги?

— Я украл тебя, а теперь расплачиваюсь. Не беспокойся, Зельда, твой отец не дурак. Мы влюбились, а ему было это на

руку. Он дешево отделался. Что такое влюбленность? Мыльный пузырь. На него приятно смотреть, но он быстро лопается.

— Довольно! Знаем вас, мистер Мендель Маранц. Ты мне зубы не заговаривай. Вбил себе в голову, что ты важный барин и не должен работать. Сарра проливает пот на фабрике, Хими продает газеты на улице, Натан бегаёт с телеграммами. А ты? Сидишь себе, как король, и попиваешь чай!

Мендель пожал плечами.

— Что такое женский язык? Хвостик собачонки, который постоянно болтается.

— Я знаю о чем говорю. Для тебя работа — смерть. Сидишь, закрывши глаза, с папироской в зубах и строишь разные планы, как разбогатеть. Но, видно, ты скорей сойдешь с ума.

— Знаешь, ты уже старуха и ничего не понимаешь. Мне нужно только одну капельку счастья. Я еще буду знаменитым изобретателем. Только подожди!

— А кто до того времени будет давать нам на хлеб? Лучше, Мендель, выбрось эти глупости из головы.

— Сама ты — глупости! Ты и твои родственнички! Вы все думаете, что у меня здесь — вода, — сказал он, указывая на лоб. — Нет, Зельда! У меня здесь идеи, планы, машины. Я не могу спать, не могу есть, не могу работать.

Мендель быстро зашагал по комнате.

— Я знаю: все вы завидуете мне. У твоего брата, Морица — обувная фабрика, у другого брата — контора, а сестра Дора замужем за богачом. Но ни у кого из них нет мозгов.

Зельда молчала и покусывала губы. Много лет слышит она от мужа одно и то же. У Менделя, наверное, даже есть мозги. Иначе, как мог бы он жить, не работая? Он всегда разбивает ее своим красноречием и заминает дело. И она терпеливо работает, а он продолжает мечтать. Так было, когда у них была конфетная лавочка; так же было, когда они держали зеленую палатку, которую сменила тележка. Так оно и теперь, когда у них нет ничего.

За короткое время Мендель перебрал десятки мест, от страхового агента до ночного сторожа. Он придумал, по крайней

мере сотню разных изобретений, которые должны были благодетельствовать человечество. Но ни одно не получило признания и меньше всего, конечно, со стороны Зельды. И все-таки он продолжал изобретать.

Все гении непоколебимо убеждены в своем величии. Равно как и все маньяки. И Зельда не могла решить, к какому ряду принадлежал Мендель.

Она была уверена, что их семье грозит крах. Она знала многих мужчин, которые, как Мендель, начинали с безвредных мечтаний, а кончали тем, что становились игроками, пьяницами и даже хуже того.

— Ты помнишь или не помнишь, что было с Резником? Каждый день у него был новый план, как сделаться миллионером, а жена нажила себе на фабрике чахотку. Она умерла, детей забрали в сиротский приют, а он все еще мечтал о миллионах. Снял палатку на рынке, начал торговать кофе и потерял все до последнего цента. Тогда он начал выдавать всем чеки с подписью "Рокфеллер", и его поместили в "Бельвью".* А Дитенфас, а Карниоль? Разве они не были похожи на тебя, как две капли воды? Одному жена с горя выжгла глаза, а другой умничал, умничал — и попал в тюрьму. Ты б лучше придумал что-нибудь такое, что заставило бы тебя работать, — заключила она. — Другой с твоим умом уже составил бы себе состояние.

— Деньги могут зарабатывать и дураки. Потому-то твои родственники и богачи.

— Опять ты за свое, — устало сказала она, чувствуя, что он опять хочет обойти ее. — Какая тебе польза от твоих шуток? Ты шутишь и голодаешь. Счастье еще, что Сарра работает. Если б не она, нас бы давно выбросили на улицу.

В это время вошла Сарра. Она была очень бледна и казалась убитой горем. Бросив шляпу на кушетку, она устало опустилась на стул.

— Фабрика стала. Рабочие получают расчет.

Случилось то, чего Зельда боялась больше всего. Семья Ма-

ранца очутилась на краю пропасти. Сарра рассеянно глядела перед собой, подперев щеку кулаком. Мендель перестал курить, чтобы обращать на себя меньше внимания.

Четыре женских глаза, однако, перенеслись именно на него. Зельда начала первая.

— Больше я терпеть не буду. Или ты завтра же отправляешься на работу, или уходишь от нас, мистер Мендель Маранц!

Для Менделя это было не ново. Такие кризисы случались и раньше. Заставить его работать — это все равно, что запрячь льва в телегу. Его ум не привык идти по готовым путям.

— Я не приспособлен к труду, — сказал он наконец. — Одни работают руками, другие — ногами. А я исключительно — головой. А тебе хочется, чтоб я работал, как сапожник Симон, который по целым дням загоняет в каблук гвозди, пока не загонит себя в могилу. Раз, два, три — и у меня готова машина, которая забивает гвозди, режет кожу и прилаживает каблуки. А я сижу и смеюсь над всем миром. Я не могу работать, как другие, а другие не могут работать, как я.

— Ты опять хочешь доказать мне, что ночь — это день, а черное — белое, но это тебе не удастся. Теперь у нас в доме будет такой порядок: кто не работает — не ест. Если ты можешь придумать, как доставать себе хлеб, — твое счастье. С этого дня я буду отцом и хозяином в доме.

Мендель не верил.

— Что такое женщина? — думал он. — Много грома и мало дождя.

Но тут полил дождь, какого он совсем и не ожидал.

— Завтра утром я пойду работать в швейную мастерскую. Ты, Сарра, пойдешь со мной.

И повернувшись к Менделю, она продолжала:

— Ты считаешь, что моя работа в доме — игра. Ты думаешь, работа по хозяйству — пустяки. Вот ты увидишь. Ну, вот! Теперь ты будешь играть, развлекаться, а я буду зарабатывать на хлеб.

Мендель знал, что Зельда уже давно носит семейные штаны, но он думал, что она будет носить и юбку. Однако ее твердое решение разочаровало его. Он никогда не подозревал, что тут

* Дом сумасшедших.

же в квартире, рядом с ним, столько работы и что теперь вся эта работа может свалиться на него. Он, конечно, не станет ее делать. Но все-таки...

— Что такое женщина? — подумал он. — Молния. На нее приятно смотреть, пока она тебя не ударит.

МЕНДЕЛЬ МАРАНЦ В РОЛИ ДОМОХОЗЯЙКИ.

Дети, по-видимому, сразу поняли, что вместе с матерью из дому ушел закон и порядок.

Менделю приходилось то и дело уклоняться от летавших по комнате подушек, перескакивать через опрокинутые стулья. В кофе у него оказалась соль, на сиденьи под ним что-то острое.

Он уже схватил шляпу и хотел бежать на улицу. Но что ему делать на улице?

Мендель остановился и сжав зубы принялся за работу. Он так сильно тер мылом лицо Джекки, что оно стало похоже на морковь.

— Что такое жена? — бормотал он. — Телескоп! Она помогает тебе видеть звезды.

— Сэмми, никогда не женись! — сказал он сыну. — Что такое брак? Сначала кольцо на пальце, потом — на шее, Лена, перестань тянуть Джекки за волосы. Сэмми, ты думаешь, что скатерть — это носовой платок?

Что такое дети? Страхование жизни. Когда-нибудь они отблагодарят тебя за все — когда ты будешь в могиле. Такова уж жизнь. Но что такое, в конце концов, жизнь? Путешествие. Что такое смерть? Цель. Что такое мужчина? Пассажир. Что такое женщина? Багаж.

— Джекки, противный мальчишка! Вот тебе яблоко. Идите в школу. Сэмми, нельзя ездить по перилам. Кто это плачет? Джекки? Отдай ей обратно яблоко! О, Господи!

И Мендель, усталый, измученный Мендель, опустился на стул.

Когда вечером после работы Зельда вернулась домой, кошка сидела на столе, а Джекки лежал под столом, и Лена нажи-

мала на него ногой. Один глаз у Сэмми был подбит: Хими запустил в него блюдцем. Кухонные столы и табуретки стояли в столовой, подушки валялись на кухне.

Менделя нигде не было видно.

— Где папа? — спросила Зельда. — Боже, я сойду с ума.

Звук падающей посуды заставил Зельду броситься на кухню. Мендель, стоя одной ногой на раковине, другой на плите, искал что-то на полке. Осколки от тарелок, кастрюли и тряпки валялись на полу.

— Что тебе там нужно?

— Йод.

— Какой йод? Зачем йод? — спросила она.

— Небольшая царапина, — не двигался он с места. — Палец случайно попал в мясорубку.

— А что это за вода и тряпки на полу?

— Хочу приложить компресс к ноге, Я поскользнулся, и на меня упала газовая плита. Вывихнул ногу. Суп был очень хороший, но горячий. У тебя есть что-нибудь от ожогов?

— Чего же ты лезешь на стенку? На тебе лица нет.

Помолчав, она спросила:

— Может быть, мне лучше оставаться дома?

— Может быть, — пробормотал он.

— А что будет, если я останусь дома? — спросила она.

— Будет лучше.

— Это я знаю. Ну, а ты?

— Я поправлюсь.

—И?..

— Если я поправлюсь, я буду здоров. Что такое здоровье? Сад. Что такое болезнь? Могила. Что такое хорошая жена? Садовник. Что такое плохая жена? Могильщик.

"Нет, он никогда не исправится, — подумала она. — Но не так все это страшно. Он от этого не умрет. Он будет привыкать к работе, а я буду кормить семью".

И опыт продолжался.

Но Зельда не имела в виду, что опыт будет продолжительным. Она думала, что Мендель день ото дня будет все больше протестовать, пока не скажет: "Мне надоело это рабство. Я согласен идти работать."

Но вместо этого он, казалось, полюбил дела по дому. Правда, его работа была груба и неряшлива. Он чистил посуду щеткой, а потом уже мыл ее. Заметал сор под стол. Варил суп в кофейнике, вытирал пол юбкой или кофтой.

А Зельда становилась все более удрученной.

— Вор! — хотелось вскричать ей. — Уходи из моей кухни! Отдавай мой фартук и больше не подходи к моей работе.

Она чувствовала себя жильцом, которого терпят лишь потому, что он исправно платит за стол и квартиру.

За столом дети обращались только к отцу.

— Папа, Сэмми взял мою ложку!

— А ты возьми его, — отвечал Мендель.

— Папа, я хочу мяса.

— Бери мое.

— Па, а Лена стащила мой хлеб.

— Стащи у нее.

Ах, все шло совсем не так, как она хотела! Вместо того, чтобы заставить Менделя работать, она сама падала в пропасть. Если бы только можно было исправить дело! Она попытается уговорить Менделя.

— Мендель, я опять буду работать дома, а ты будешь сидеть на кушетке и мечтать о своих изобретениях.

Но Мендель покачал головой.

— Для тебя будет тяжело, — галантно сказал он.

— Ничего, Мендель, я справлюсь.

— Но мне будет жалко тебя.

— Ты скоро привыкнешь.

— Нет. Домашняя работа не для женщины. Мудрец говорит: " Будь добр со своей женой и корми своих детей". Это значит, что муж должен сам убирать квартиру и готовить обед для детей. Что такое жена? Солдат. Ее место на поле сражения. Что такое муж? Генерал. Он должен сидеть дома.

Зельда была не на шутку встревожена.

— Так вот это будущее, о котором ты мечтал! Быть прачкой и кухаркой. Постыдись, Мендель. Подумай о том, что говорят соседи. Они уже не могут понять, кто из нас муж, кто жена...

Мендель спокойно свертывал папиросу.

— Разве не ты сама заставила меня сидеть дома и работать? Вот, я и работаю. Что такое работа? Удовольствие. Если знаешь, как...

Он чиркнул спичкой и закурил. Зельда тяжело опустилась на стул.

"Работа — удовольствие", — звучало у нее в ушах. — Может быть, ему просто нравится быть одному дома. Или, быть может, быть может?.. Удовольствие! А что такое удовольствие? Внезапно обожгла ее мысль. Так вот в чем дело! Она давно подозревала кое-что, но э т о не пришло бы в ее голову никогда в жизни. Те половые щетки, что она нашла третьего дня под кроватью, и швабра в ведре — ведь это все чужое. Где он мог их взять? Она, кажется, видела их где-то. Ах, да — у жены дворника! Неудивительно, что ему так нравится сидеть дома. Отдельные эпизоды соединялись в одно целое, образуя картину, не предвещавшую ничего хорошего.

ЧУДО

Однажды, вернувшись с работы, она застала Менделя сидящим на окне с папироской в зубах, и сложив руки на коленях, он мечтательно глядел в окно.

В квартире царил идеальный порядок, на кухне — чистота, белье высушено и выглажено, чисто вымытый пол блестел.

— Сарра, я хотела бы знать, кто это все сделал? — обратилась она к дочери.

— А ты думаешь, кто? — спросила в свою очередь Сарра.

— Разве ты никогда не замечала, как она на меня смотрит? — продолжала Зельда. — Вечно смеется мне в глаза.

— О ком ты говоришь, мама?

— Ривочка! Дворничиха! Я знаю эту птицу, я не раз замечала, как она строит Менделю глазки. Она старше меня, но красится, как вывеска, думает, что мужчины от нее без ума. Спроси своего милого папашу.

Мендель сидел огорошенный. И удивленно таращил глаза.

— Довольно притворяться! — наступала Зельда. — Я работаю, как лошадь, а эта будет... Помни, мистер Маранц, ты еще пожалеешь! — сквозь слезы выкрикнула она, взмахнув кулаком перед носом мужа, и исчезла.

Мендель удивленно глядел на Сарру.

— Когда все было вверх дном, она говорила, что я сведу ее с ума. Теперь, когда в доме порядок, она меня сводит с ума. Что такое жена? Эпидемия. Если она не разразится тут, она разразится там.

На другой день Зельда уже не могла работать. Она рвалась домой, чтобы поймать их вместе — Менделя и Ривку, — выцарапать глаза старой мегере. Но, обдумав, решила подождать. Мендель, верно, ждет нападения и скажет Ривке, чтобы пока не приходила.

И она решила действовать хитро, сделал вид, что все забыла.

Вечером она лицом к лицу столкнулась с Ривкой, спускавшейся с пятого этажа. На пятом этаже были две квартиры. В одной проживала миссис Цвак — вдова, ненавидевшая Ривку и никогда не пускавшая ее к себе в квартиру, в другой — Мендель Маранц с семьей. Откуда же шла Ривка?

В квартире Зельда нашла тот же порядок. По правде говоря, она сама не могла бы так убрать. Квартира блестела, как зеркало.

Ночью Зельда не могла уснуть. Наутро у нее трещала голова, глаза застилало туманом, и она не могла шить. Если все дело заключалось в Менделе, она, не задумываясь, ушла бы от него. Но дети! Дочь-невеста и малыши. Что скажут люди?

А Мендель? Вот почему он говорит, что работа для него удовольствие. Судя по чистоте, которую наводила Ривка, любовь их развивается с угрожающей быстротой.

Зельда рисовала себе жуткие картины измены: Мендель вертится около этой пятидесятилетней потаскухи, пока та моет посуду и стирает белье. Помешивая белье в котле, она кокетливо толкает его локтем в бок:

— Мендель, милый, неужели ты равнодушен к моей красоте?

А Мендель, прижимаясь к ней, отвечает:

— Что такое красота? Вино. Чем старше, тем лучше.

Затем положит ей голову на грудь и скажет:

— Ах, ты, моя толстушка!

Затем Ривка прижмется головой к его груди, взглянет на него своими дьявольскими глазами и зашепчет:

— Люби! Люби меня, Мендель! Я — твоя!

А Мендель, упираясь ногами в пол, чтобы сдержать тяжесть ее тела, обнимет ее в страстном порыве:

— Что такое любовь? Метла. Она сметает тебя с лица земли.

Будучи не в состоянии владеть собой, Зельда в одиннадцать ушла домой. Она поднималась по лестнице, несколько раз споткнулась. Наконец подошла к двери и прислушалась.

Что это? Разговор? Нет, это ее воображение. Нет, разговор. Сперва мужской голос, потом — женский, затем — смех. Она толкнула дверь и влетела в комнату.

Перед ней стояла Ривка. Стояла и смеялась ей в глаза. Тут же стоял Мендель. И еще дворник — муж Ривки. И еще два человека. В цилиндрах, сюртуках и лакированных штиблетах. Наверное, сыщики, которых привел дворник, чтобы на месте уличить жену и арестовать Менделя. А вот еще Мортон, племянник Менделя — адвокат.

"Ой! И адвокат... Теперь все пропало", — блеснуло у Зельды в голове. Она почувствовала, что вот-вот ей станет дурно.

К ней подошел Мендель и взял ее за руку:

— Это моя жена. Это она заставила меня сделать это.

— Вы сейчас поедете с нами, — сказал один из джентельменов в цилиндре, обращаясь к Менделю.

— Скажите, наконец, в чем тут дело? — взмолилась Зельда.

— Мне нужно ехать с ними, — сказал Мендель. — Но ты можешь спросить Ривку, — добавил он многозначительно. — Ей все известно.

Мендель, его племянник и оба незнакомца исчезли прежде, чем она успела опомниться. С горящими глазами она повернулась к потаскухе-Ривке.

— Я хотела бы, чтобы и моего мужа взяли туда, куда взяли твоего, — сказала Ривка. — Ты сама не знаешь, что он сделал.

— Что же такое он сделал? — насторожилась Зельда. — Наверно, и ты тут замешана'.

— Я? Я только привела сюда этих людей. Они постучали к нам и спросили: "Здесь живет Мендель Маранц?"

— А зачем ты их привела? Зачем? Разве ты не видишь, что это сыщики?

— Как я могу сказать, кто они? Когда они вошли, твой муж побелел, как молоко. "Вы тот, кто это сделал?" — спросили они. А он весь побелел и сказал: "Да".

— Зачем он сказал "да", зачем?

— Потому что это правда, — ответила Ривка.

— Что правда?

— Что он сделал это.

— А что он сделал, что? Я тут с ума сойду с тобой. Почему ты не говоришь мне?

— Я все тебе сказала.

— Когда ты мне сказала? Когда? У тебя же ничего нельзя понять. Что тут случилось? Что им тут было нужно? Почему твой муж был тут? Почему ты тут?

— О, Господи! Что с тобой? — воскликнула Ривка. — Иди сюда и открой пошире глаза.

И она потащила Зельду на кухню.

— Ты видишь это или не видишь? — показала она на какую-то массу, покрытую холстом посреди кухни.

— Что я должна видеть? — нетерпеливо сказала Зельда. — Тряпки?

— А под тряпками?

Она приподняла холстину, и Зельда в изумлении застыла на месте. Она закипела от негодования.

— Нечего дурачить меня! — наступала она на Ривку. — Что ты мне показываешь? Что? Жестянку из-под золы на колесах! Но при чем тут мой муж? Ты думаешь, я ничего не понимаю?

У Ривки на лбу выступил пот.

— Ты не понимаешь, о чем я говорю, я не понимаю, о чем ты говоришь. Тут все перепуталось. Где ты видишь жестянку из-под золы? Я желала бы всем своим родственникам таких жестянок. Это самое большое чудо на свете!

Зельда с трудом держалась на ногах.

— Но что же это, что, спрашиваю я тебя? — проговорила она, тяжело дыша.

— Тут — все! — торжественно сказала Ривка. — Мы все видели это — мой муж Шмерль, я и другие люди. Твой муж заводил эту жестянку, как граммофон, и она начинала играть. Тарелки кладутся в нее грязные, а выходят чистыми, как после бани. Видишь это? На этих ремешках держатся тарелки. Они входят сзади, а выходят спереди. Потом он снимает ящик с ножек, вынимает ремни и вставляет вот эту доску со щетками, поворачивает ручку, и ящик начинает ездить по полу, как автомобиль, и так скребет пол, что он весь блестит. Мы стояли и смотрели и не верили своим глазам. Затем он вынимает доску со щетками и вставляет какую-то машину с трубками и колесиками, заводит эту машинку и бросает туда грязное белье. Там что-то шипит, трещит, а потом оттуда выходит белье, чистенькое и аккуратное, как сосиски, и тебе только остается его развесить. Вот такая это жестянка!

Зельда в изумлении глядела на стоящее перед ней чудо.

Она легко узнала колеса от старой детской коляски, ножки от кухонного стула, ручку от печки.

— В пять минут этот ящик делает больше, чем я за целый день, — трещала Ривка. — Они называют его — ком-бини-рованный прибор. Люди, которые тут были, говорят, что они наделают миллионы таких ящиков. Вы теперь будете богаты, миссис Маранц! Кто бы мог подумать, что вы разбогатеете на уборке чужих квартир. Я убираю чужие квартиры вот уже двадцать девять лет, и никогда мне это и в голову не приходило.

БЕРНАРД ШНАПС

— Бернард, ты думаешь, что ты умеешь лгать. Но ты ошибаешься. Что такое ложь? Мул. Когда тебе нужно, он не двигается с места. Почему ты, Бернард, вздумал отдать нам визит, не поленившись даже подняться на пятый этаж? Разве ты не знал нашего адреса раньше? Что такое родственник? Близорукий.

Он видит тебя только тогда, когда ты — большой человек. Где был знаменитый маклер Бернард Шнапс, когда у нас нечем было платить за квартиру? А теперь он предлагает мне имение в Калифорнии!

— Не имение, а виллу.

— Что бы там ни было, можешь оставить это себе, — сказал Мендель, поднимаясь со стула. Бернард умоляюще посмотрел на Зельду, свою сестру. Ее молчаливое негодование вылилось в потоке слов.

— Ты, Мендель, как видно, думаешь, что у тебя вместе с деньгами завелись мозги. И ты, как видно, думаешь, что мы всегда будем жить на этом рыбном рынке, на пятом этаже — семь душ в трех комнатах — как кошки на крыше!

— Мы уже привыкли к этому, — сказал Мендель. — Что такое привычка? Жена. Ее легко приобрести, но трудно от нее избавиться.

— Довольно тебе отделяться шутками, Ты смешон и без них. — наступала Зельда на Медея, который попятился в угол. — Сегодня же мы должны выбраться отсюда. Мы должны переехать на другую квартиру — вот и весь разговор!

Бернард дипломатически повел речь.

— Я такой человек — я не люблю уговаривать. Если ты хочешь купить — покупай; если нет — почему? Ведь ты, Мендель, теперь большой человек. Твой комбинированный прибор распространяется по домам, как пожар в лесу. Ты теперь добился большой славы, сделался знаменитым изобретателем.

Мендель пожал плечами.

— Что такое слава! Лестница. Чем выше поднимаешься, тем сильнее она шатается. Я не хочу упасть и сломать себе шею. Для этого нужно иметь честолюбие. А что такое честолюбие? Черный кофе. Оно не дает тебе спать. А мне как раз хочется спать, — добавил он зевая и поглядывая на часы.

— Но как ты можешь спать в такой квартире? — упорствовал Бернард, не оставляя мысли о продаже Менделю виллы в Калифорнии. — Такой человек, как ты, если он хочет хорошо жить и спать, должен иметь, по крайней мере, четыре собственных дома. Для каждого сезона — отдельный дом. Виллу в Ка-

лифорнии. Зимнюю дачу во Флориде. Летнюю — в Канаде. И постоянный дом на Пятой Авеню в Нью-Йорке.

Мендель почесал затылок.

— Ты, как видно, забываешь, что я только отец семьи, а не командир армии. Чего я стану бегать с места на место, как сумасшедший? Брать на свою голову такую заботу! Что такое забота? Средство для укрепления волос, от которого лысеют. Четыре дома в четырех концах земли. Безумие! Каждый раз скакать из Калифорнии на улицу Питт, в Нью-Йорк, когда тебе захочется съесть кусок селедки.

Зельда угрожающе двинулась к Менделю. Сарра попыталась удержать ее, но мать вырвала у нее из рук фартук.

— Пусти! Я должна показать ему раз навсегда. Когда мы были бедными, я еще могла кое-как с ним поговорить. Но с тех пор, как мы разбогатели, он не дает мне сказать ни слова. Он хочет отличаться от всех. А кто от этого страдает? Семья! Но теперь я твердо решила: или быть хозяйкой в доме или ничем! — решительно заявила она, обращаясь за поддержкой к Бернарду. Я говорю ему: "Мендель, посмотри на Крауссов. Разве Сигизмунд Краусс не торговал солеными огурцами на Скаммель Стрит? А теперь? Вся его семья живет на Риверсайд Драйв. У них три шофера, слуги и собачки для детей. А семья Гассенхейма, банкира! Раньше он продавал одну шифскарту* в месяц и торговал запонками на рынке. А теперь? Видные люди в обществе! У них целая ферма на Пятой Авеню и дом на Долгом Острове.** Вот как у людей! — говорю я ему. — Разве все богатые люди не бросили этот рыбный рынок и теперь блистают в обществе? И мы тоже не должны отстать от них." А он на все мои слова отвечает: "Бобы!" Он поймал где-то новое слово "Бобы!". Что бы я ни сказала, он в ответ: "Бобы!"

Бернард слушал сестру с нетерпением.

— Зельда, по-моему, ты повернула не туда. Мы говорим о виллах и домах, а ты вдруг про бобы? При чем тут бобы?

*Проездной билет на парохде (подозревается — из Европы в Америку (прим. переводчика).

**Зельда перепутала. Она хотела сказать: "У них дом на Пятой Авеню и ферма на Долгом острове."

Тебе нужен новый дом. Вот и говори о доме.

И он с улыбкой повернулся к Менделю:

— Мендель, она права. Улица Питт не для тебя. Здесь не может быть двух мнений. Вопрос стоит так; тебе нужно, и ты должен! Я такой человек — я люблю родственников. Я хочу устроить тебя так, чтобы ты помнил меня всю жизнь.

— Я верю тебе, — сказал Мендель, чиркнув серной спичкой о подошву своего башмака. — Но ради чего я должен менять квартиру? Ради общества? Бобы!

Мендель закурил папиросу.

— Зачем мне общество? Что у меня общего с Крауссами, Гассенхеймами и Розенвальдами? Если поселимся рядом с Крауссом, то мне придется одеваться, как официанту, ходить с палкой, как калеке, и гулять позади маленькой собачки, как слепцу. И ты называешь это жизнью? Что такое жизнь? Короткая прогулка перед долгим отдыхом. Зачем мне делать ее еще короче? Здесь, на улице Питт, я сам себе господин. Когда я прохожу по улице, кушая яблоко, я слышу, как все шепчутся: "Знаете, кто это идет? Это Мендель Маранц, великий изобретатель! Он, может быть, даже миллионер!" Они смотрят на меня, как на Рокфеллера. Что такое слава? Бинобль. Она увеличивает тебя в два раза! Что такое удовольствие? Стоять на горе. Весь мир у тебя под ногами. На улице Питт я стою, как на горе. На Пятой Авеню я буду, как в подвале. Ах, эта Ривка? Что такое жена? Сыщик. Она всегда ловит не того, кого надо. При чем тут бедная Ривка? Когда ты недовольна, всегда у тебя виновата Ривка. Мне становится жалко ее, и если так будет дальше, то я и в самом деле могу полюбить ее.

— Довольно разыгрывать ангела, — насмешливо сказала Зельда. — Тут совсем не жалость! Может быть, раньше я и ошибалась, но теперь я уже хорошо знаю. Мне хочется выцарапать ей глаза, когда я иду с тобой по улице, и она смотрит на тебя. Она думает, я не замечаю, она думает... Знаешь, Бернард, иногда мне так тяжело, что вот взяла бы и выбросилась в это окно!

На лице Бернарда появилось выражение отчаяния.

— Какое отношение это имеет к дому? — простонал он. — Каждую минуту ты примешиваешь то, чего не надо. То бобы, то Ривка. У меня кружится голова от этих разговоров! Когда вы думаете покупать дом? В следующем году? Я такой человек — я люблю: раз, два, три! Да или нет?

— Разве ты не видишь, что "да"? — сказала Зельда. Мы переедем без него!

Бернард стоял в нерешительности.

— Я не могу так, как ты, — сказал он, глядя на нее. — А кто будет платить? Я такой человек — я человек дела. Почему вам не переехать всем вместе? Хорошо! Если вы не хотите покупать четыре дома, купите один. А потом, может быть...

— В том то и беда, — сказал Мендель. — Что такое дом? Шляпа. Для каждого сезона нужна другая. Если я куплю один дом, придется покупать четыре. Нужно держаться моды. А что такое мода? Палка. Можно обойтись и без нее.

Бернард от усталости еле держался на ногах.

— Какой же будет конец всему этому? — простонал он, беря шляпу и трость.

Мендель потушил папиросу о подошву башмака и сказал со вздохом:

— Я сам куплю себе дом.

Кругленький, низенький Бернард бессильно упал в кресло. Его трость и шляпа полетели на пол.

— Ч-ч-что? — с трудом выговорил он. — Если я уйду отсюда живым, значит, я крепкий, как железо. Весь вечер просидел, чтобы услышать такие слова. Лучше мне оглохнуть!

Бернард встал, намереваясь уйти.

— Ну, хорошо, Мендель, заходи ко мне в понедельник, в четыре часа, и я тебе продам дом, — быстро проговорил он, боясь, что его опять перебьют. Есть у меня на примете настоящий дворец, рядом с Центральным парком. Как раз то, что тебе надо. В этом доме один маклер спасался от своей семьи. Там есть бассейн для купанья, карточные столы, оранжерея, сады и картинные галереи.

— А есть там кухня? — с беспокойством в голосе спросила

Зельда. — И раковина для стирки белья?

— Ну, а как же? — важно сказал Бернард. — И танцевальный зал, и бильярдная, и лифты, и комнаты для солнечных ванн!

СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОРЕЦ С ЗОЛОТЫМ КУПОЛОМ

В понедельник Зельда с Саррой отправились осматривать дом. Но не осмелились войти в него, а только смотрели на него с другой стороны улицы. Это был город, страна, целый мир, а не дом. С чудесными статуями, фигурами и колоннами. И без пожарных лестниц. Одни широкие каменные ступеньки и обвитые зеленью балконы. И без окон! Одни только стеклянные двери с золотыми ручками. И без крыши! А только с раскрашенным блестящим куполом, слепившим глаза. И вместо водопровода — кристальный фонтан среди цветочных клумб.

Ночью ни мать, ни дочь не могли уснуть. Моя посуду в раковине, Зельда размышляла: "И как это я могла выносить такую жизнь? Еще неделя — и я была бы в могиле".

Вынося ведро с отбросами в мусорный ящик на пожарной лестнице, она бормотала:

— Фи! И как люди могут выносить такую жизнь?

И она презрительно посмотрела в окно на двор, заваленный мусором, на жалкий забор, увешанный разным тряпьем, на котором сидели худые облезлые кошки. "Неужели у людей нет глаз, что они не видят всего этого? — мрачно думала она. — И они воображают, что живут? Слепцы! Сбились в одну кучу, как мухи в мусорном ящике."

— Я не сплю, не ем, ожидая того дня, когда мы переедем, — призналась она Сарре.

— Я тоже, — бормотала Сарра.

Понедельник. Четыре часа. Сарра и Зельда сидят у окна и смотрят на шумную улицу, напротив рыбного рынка. Какими безобразными кажутся дома! Какими жалкими выглядят люди, толкущиеся на этом рынке! Как все шумно и про-

тивно! И какой совершенно другой мир на Вест Сайде*, около Центрального парка!

Пять часов. Скоро покажется Мендель. Как всегда, он будет идти своей ленивой походкой. Даже теперь, неся в кармане ключ от нового дома, он не будет спешить и, вероятно, остановится у конфетного ларька, чтобы выпить стакан содовой и поболтать с продавцом.

Шесть часов. Дети просят есть. Но они должны ждать. Многие годы Зельда и ее дети ждали. А теперь у них будет собственный дом. Как часто им приходилось голодать и ложиться рано спать, чтобы заглушить голод. Но то был лишь пост перед праздником, перед настоящим пиршеством!

Половина седьмого.

"Может быть, он еще едет, — думала Зельда. — Или, может быть, он торгуется, или, может быть, заблудился, или..."

Внезапно — сильный стук в дверь. Обе женщины замерли. Дверь вдруг распахнулась, и в комнату ворвался Бернард Шнапс. Он тяжело дышал и размахивал тростью.

— Где он — обманщик? — кричал Бернард, бегая по комнате. — Что это за насмешка? За кого он меня держит? За кого?

Зельда, бледная и испуганная, не знала, что сказать.

— Купили дом? — чуть слышно произнесла она.

— Ну, конечно, да! — воскликнул Бернард, саркастически улыбаясь. — Разве ты не видишь? Он вот здесь у меня — в кармане. Вот почему я так счастлив.

Зельда прижалась к спинке стула.

— Что! Значит, не купили? — воскликнула Сарра, вопрошающе глядя на Бернарда.

— Я сидел там, как дурак, и ждал, и ждал, и ждал. Думал, что лопну от нетерпенья. А он так и не пришел!

— Куда же он ушел, если его там не было? — растерянно сказала Зельда.

— Ты кого спрашиваешь? — меня? Пожалуйста, не смей меня так сильно. Она спрашивает меня, где ее Мендель. Но где бы он ни был, если он думает, что я из-за него лишусь

*Вест-Сайд — в то время богатая аристократическая часть Нью-Йорка. Ист-Сайд — бедная часть Нью-Йорка, населенная почти исключительно эмигрантами: евреями, итальянцами, ирландцами и др. Напомним, это было более чем полвека назад.

комиссионных, то, значит, он не знает Бернарда Шнапса. Мое время — деньги. И даже не мои деньги!

Он стукнул тростью об под, как бы подчеркивая свои слова.

— Я еще тогда говорил тебе: "Зельда, смотри, за кого ты выходишь замуж!" А теперь ты видишь, что я был прав: На него же нельзя положиться. Я не удивлюсь, если окажется, что он сбежал вместе с деньгами, может быть, даже с женой дворника, вот с той самой Ривкой!

Зельда побледнела.

— Бернард, ты с ума сошел. Ты сумасшедший, лунатик. Лучше прикуси себе язык!

— Вот увидишь! — воскликнул Бернард. — Мы прождем здесь всю ночь, а он не придет. Он больше не вернется!

— Он здесь, — спокойно сказал Мендель, похлопывая Бернарда по плечу.

Мендель уже давно стоял за дверью и ждал, когда Бернард кончит.

— Что за манера! Подслушивать, стоя за спиной.

— Папа! — вскричала Сарра.

— Фу! — воскликнула изумленная Зельда, увидев Менделя. — Где ты был все это время? Мы думали, тебя убили. А ты, как видно, весь день проспал в парке.

Мендель спокойно снял с себя пальто, будто бы ничего не случилось.

— Я ходил покупать дом, — сказал он.

— Покупать дом? — повторила Зельда.

— Ложь! — воскликнул Бернард.

— А разве вы не хотели, чтобы я купил дом? — спросил Мендель. — Я вас, друзья, не понимаю. То вы не давали мне жить, требуя, чтобы я купил дом, а теперь не даете жить, — чтоб я не покупал. Что такое семья? Яд. Как ни принимай его — все равно несладко!

— Значит, ты на самом деле купил дом? — воскликнули в один голос Зельда и Сарра.

— Я не верю этому, — осторожно сказал Бернард. — Сколько ты заплатил?

"Я знаю, что он не купил дома, думал Бернард, — но с Менделем ни в чем нельзя быть уверенным." — Говори немножко яснее. Скажи мне точно, какая цифра?

— Что такое цифры? Веснушки. Они ничего не значат.

— Я не об этом спрашиваю тебя, — сказал Бернард. — Я спрашиваю, какую цену ты дал?

— Какую было нужно. Что такое цена? Лекарство. Его не легко проглотить.

"Обманщик! Я уверен, что он купил дом, — решил Бернард, — и теперь старается заговорить зубы. И все-таки, кто его знает?.."

— Из твоих слов я вижу, — осторожно продолжал Бернард, — что ты сделал крупную сделку. И если ты, действительно, купил дом, — энергично добавил он, — то помни, что я — твой агент!

— Я этого не помню, и ты лучше забудь об этом, — отрезал Мендель.

"Я знал, что он купил дом! Я знал это с самого начала!" — подумал Бернард. — Что! — закричал он. — Мой родной зять хочет лишить меня комиссионных! Разве не я показал тебе дом?

— Нет, не ты, — сказал Мендель.

Бернард, меча искры глазами, негодуяюще смотрел то на Менделя, то на Зельду и Сарру. Они обе явно были на его стороне.

— Лгун! Убийца! — пришел он в неистовство. — В глаза мне ты говоришь такие вещи! Обманщик! Жулик! В своем собственном доме ты так оскорбляешь меня!

Мендель спокойно вынул портсигар из кармана.

— Твой крик не поможет тебе, — сказал он. — Что такое волнение? Музыка. От него болит голова. Тебе не следует комиссионных, и ты их не получишь. Поэтому и не беспокойся. Что такое беспокойство? Золотые прииски. Они не окупают себя.

Он чиркнул спичку о подошву и тихо добавил:

— Того дома, который ты указал мне, я не покупал, а купил совсем другой.

— Другой! — вскричала Зельда с отчаянием в голосе. Бернارد и обе женщины наступали на Менделя.

— Другой дом!.. Лгун!.. Что он говорит!.. Убийца!.. Что я слышу!.. Я сойду с ума!.. Обманщик!.. Этого не может быть!.. Другой дом!.. Жулик!..

— Но почему же ты не купил этого дома? — наконец печально спросила Зельда.

— Потому что он недостаточно хорош, — сказал Мендель.

— Ты обманываешь нас, — сказала она с недоверием. — А что, этот дом тоже недалеко от Гассенхеймов?

— Да, недалеко, — ответил Мендель. — Что такое расстояние? Пальто. Для тебя оно длинное, а для меня — короткое!

Зельде захотелось, чтобы он говорил более ясно.

— А есть в этом доме стеклянные двери с золотыми ручками?

— Я не помню. Мне кажется, что в этом доме есть стеклянные окна и позолоченные ящики для писем, и дети повсюду играют в мрамор.*

— Ты не понимаешь меня! — с раздражением сказала она. — Есть ли у этого дома круглая крыша из цветного стекла и цветы в саду с фонтаном в углу сада?

— Да, в этом доме много стекла на крыше и цветов в парке, и рядом на углу бьют фонтаны зельтерской воды.

Зельда сердито встала.

— Я спрашиваю тебя об улице на Вест-Сайде, около Центрального парка, а ты говоришь мне про нашу грязную улицу Питт!

— Но я же сказал, что я не покупаю дома на Вест-Сайде, — ответил Мендель. — А купил себе дом на улице Питт!

— Что ты говоришь? — опешила Зельда. — Какой дом?

— Дом, в котором мы живем, — сказал Мендель. — Зачем мне перебираться в Центральный парк и жить там с обезьянами, если рядом такой прекрасный большой дом? Ты говоришь, три комнаты тебе недостаточно. Теперь их будет у тебя шестьдесят! Весь дом наш и даже двор! — воскликнул он радостно.

— Что такое Пятая Авеню? Молодые чурбаны. Что такое улица Питт? Простой народ. Что такое дом? Место, где стоит твоя мебель. Что такое семейный очаг? Место, где находится твое сердце.

Зельда заломила руки.

— Боже мой! У меня кружится голова, как колесо! — простонала она. — Что он наделал? Он сумасшедший! Купил целый рабочий дом! Он хочет запереть нас навеки в этой тюрьме.

Особняк, о котором она мечтала, — серебряный дворец с золотым куполом — обрушился на нее, когда она шатаясь подошла к стулу и опустилась на него. Из развалин этого особняка вставал безобразный грязный рабочий дом, насмехавшийся над ней. Нет! Никогда не примирится она с такой жизнью! Скорее она станет просить милостыню на улице, мыть полы в чужих квартирах, но никогда не согласится быть хозяйкой-дворничихой этого дома-тюрьмы.

— Скорее он сам сойдет с ума, чем сведет меня, — решила Зельда. — Идем, Сарра! Сегодня уложимся. Завтра уедем! Пусть новый хозяин дома остается один!

Зельда встала и прошла в спальню, Сарра, не говоря ни слова, последовала за ней.

Мендель озадаченно сморщил лоб.

"Что такое жена? — размышлял он. — Народ. Он никогда не бывает доволен. Что такое муж? Король. Ему всегда угрожает опасность!"

Бернард, настолько ошеломленный, что до сих пор не мог произнести звука, дал выход своим чувствам.

— Я такой человек — я не люблю сумасшедших! На какого черта тебе понадобился этот дом? Только потому, что ты иногда ел сосиски, когда был бедным, ты согласен купить целую колбасную фабрику, когда стал богатым. Какая тебе польза от этого дома, если ты ломаешь свой семейный очаг?

И подумав немного, он добавил:

— И во всяком случае, если тебе нужен был целый рабочий дом, то почему ты не обратился ко мне?

*Marble — мрамор, а также детская игра в шарики.

МЕНДЕЛЬ МАРАНЦ МЕНЯЕТ КВАРТИРУ

Была последняя неделя перед пасхой. Женщины с кожаными сумками в руках толкались на рынке, в узких проходах между палатками. Продавцы, стоя позади своих лавок на колесах, на разные голоса зазывали покупателей. Фарфоровая посуда, бананы, ковры, шелка, чернослив, канделябры, куры, спички, зубочистки — все это богатство, нагроможденное на прилавках и тележках, мелькало перед жадными взорами хозяек.

Две нарядно одетые дамы, стоя в стороне, наблюдали эту шумную, суетливую толпу.

— Мадам, идем, — сказала молодая дама, вдоволь наглядевшись на открывшуюся им картину.

— Подожди минуту, — сказала ее мать, не желая уходить. — Может быть, меня кто-нибудь узнает? Прошло только семь месяцев, а кажется, я не была здесь семь лет.

— Я хотела бы знать, где тот старый дом, — сказала дочь, натягивая перчатки. — Я даже забыла, как тут идут улицы, — жеманно проговорила она.

— А я никогда не забуду, — ответила мать. — Вот Ридж, а вот улица Равингтон, а дальше — Делэнси. Нам нужно пройти еще один квартал и потом повернуть на улицу Питт.

Зельда и ее дочь медленно пробирались сквозь шумную толпу, пока не вышли на улицу Питт. Зельда узнавала многих прохожих, но ее никто не узнавал. Они не были здесь целых семь месяцев и все это время жили с семьей Бернарда Шнапса в Седархерсте — пригороде Нью-Йорка, ожидая, пока Мендель не передумает и не приедет к ним. Но Мендель и не думал менять своего решения.

Каждую неделю в течение этих семи месяцев он посылал Бернарду Шнапсу деньги на содержание семьи, а также некоторую сумму самому Бернарду. Но сам он не собирался покидать улицу Питт. Казалось, чем богаче он становился, тем сильнее цеплялся за эту улицу.

Борьба между Менделем и Зельдой свелась к простому выжиданию. Кто окажется слабее и сдастся в этой борьбе? Уста-

нет ли Мендель от постоянного посещения кофеен, столовок и рыбного рынка, или Зельде и ее дочерям надоест праздная жизнь, пустые удовольствия и бесплодное стремление проникнуть в "высшее общество"?

Между тем Зельда совершенно пала духом. Было особенно не по себе, когда она вспоминала о Ривке. "Какая я дура, — думала она. — Может быть, Менделю это только и нужно было. Я с семьей далеко от дома, в Седархерсте, а он с этой гадкой, бесчестной женщиной на улице Питт.

Но она решила испытать чашу до конца ради Сарры. Рано или поздно, но Менделю придется бросить улицу Питт. В надежде на это Зельда и ее дочь решили нанести ему последний сокрушительный удар. Они шли к нему, чтобы попроситься. После Пасхи они его надолго покинут, быть может, навсегда. Они уедут в Европу.

Сарра первая нарушила молчание.

— Я не вижу нигде дома, в котором мы жили. Его больше нет!

Они дошли до конца квартала. Но старого, рахитичного дома, в котором они жили, не было видно. Сбитые с толку, они пошли обратно, одна по одну сторону улицы, другая — по другую, тщательно осматривая все вокруг. Но дом, который они искали, словно провалился сквозь землю.

— Мама! — воскликнула Сарра. — Скорее иди сюда!

Зельда быстро пересекла улицу и, тяжело дыша, вдруг остановилась, словно приросла к асфальту — настолько велико было ее изумление.

Втиснутый в длинный ряд серых безобразных зданий стоял пятиэтажный мраморный особняк, с роскошными мраморными лестницами, балконами, с огромными окнами с золотыми ручками и жалюзиями, с блестящей крышей, ярко горевшей на солнце.

Серебряный дом с золотым куполом! Чудесное, воздушное строение, вознесшееся среди грязных трущоб Ист-Сайда.

Зельда и Сарра уставились на него, не в состоянии вымолвить слова. Увиденное казалось галлюцинацией, обманом зре-

ния. Куда девался дряхлый, покосившийся рабочий дом? Куда они попали? На Вест-Сайд, около Центрального парка, или на улицу Питт? Где Мендель? И где Ривка? Боже! Что тут случилось за эти короткие семь месяцев?

Голова у Зельды кружилась. Она с трудом стояла на ногах.

— Что делают здесь, на улице Питт, такие важные дамы? — раздался голос позади них.

Перед ними стоял Мендель. Он был в одной сорочке с засученными рукавами; на нем были те же помятые, старые брюки и широкие, пыльные башмаки.

— Что такое жена? — было первое, что он сказал. — Твоя тень. От нее никак не избавишься.

— Не будь так уверен! — сурово сказала Зельда. — Что это еще за сумасшествие ты тут придумал? — сгорала она от любопытства.

Мендель улыбнулся.

— Ты, как видно, не узнаешь старого дома, Зельда. Иди, посмотри. Мы уже не живем на пятом этаже. Я переехал ниже, туда, где жила Ривка. Я всегда говорил тебе, что у нее лучшая квартира в доме.

Зельда не двигалась с места. В глазах ее горело жгучее любопытство.

— Ривка выбралась отсюда давно, — сказал он многозначительно. — Все прежние жильцы выехали из этого дома. Но у меня есть другие. Взгляни, Сарра! Прочти матери, что тут написано.

Он кивнул на бронзовую доску, прибитую к мраморной стене дома. Сарра прочла вслух: "Улица Питт. Квартиры де-люкс. Мендель Маранц — изобретатель".

— Видишь мое изобретение? — спросил Мендель с гордостью, глядя на великолепное здание. — Что такое идея? Семья. Что такое ум? Почва. Что такое изобретение? Цветок. Заходите, пожалуйста, миссис Маранц, и приглашайте свою великосветскую дочь!

Швейцар-негр в блестящей форме распахнул перед ними дверь. Зельда и Сарра вытаращили от удивления глаза.

— Какая роскошь! — прошептали они.

Мендель проводил их в прекрасно обставленную приемную и предложил присесть в мягкие кресла.

Но Зельда вдруг набросилась на него:

— На кого ты похож? Грязная рубашка, рваные штаны! Рыбный разносчик и то одет лучше. Швейцар у дверей похож на генерала, а ты — на дворника.

— Значит, ты еще не видела нашего дворника, — сказал Мендель. — Он одет, как император. Такое уж правило в этом доме: жильцы носят то, что им нравится, а слуги то, что им не нравится. За это они получают особую плату. Сюда приходят фешенебельные господа с одеревенелыми шеями от высоких воротничков, с кривыми спинами от корсетов и скрюченными ногами от модных ботинок, а другие ходят совсем без воротничков, в юбках, напоминающих воздушный шар, в брюках, широких, как юбки, и в башмаках, похожих на бутсы. Что такое одежда? Ручные кандалы. Чем теснее, тем хуже!

— Что это за убежище для сумасшедших ты тут устроил? — воскликнула Зельда, оглядываясь вокруг.

Но Мендель продолжал улыбаться.

— Это убежище не для сумасшедших, а для богатых чудаков, которые хотят отдохнуть от своего "общества". И их прет сюда столько, что я назначаю цены гораздо выше тех, что им приходится платить на Парк Авеню. Что такое удовольствие? Шампанское. Все отдашь, лишь бы достать! И больше всего идут сюда миллионеры, которые жили здесь раньше, когда были бедными. Одеваясь в крахмальные сорочки с бриллиантовыми булавками, они тосковали по прежней жизни на улице Питт, где они могли носить мягкие рубашки и просиживать сколько им вздумается на скамейке в парке, нередко засыпая над газетой.

— Все у тебя вверх ногами! — перебила его Зельда все больше опасаясь, что Мендель не в своем уме. Но Сарра была очарована.

— И мои миллионеры опять имеют возможность пойти в кофейню Берковица, где хозяин исполняет обязанности пологого, а хозяйка — кухарки, и если им не нравится чай, то

они сами идут на кухню и делают его по своему вкусу. Они заходят в бакалейную лавочку к Пфефферу, где едят прямо на прилавке и тут же они пьют яблочный квас и сами берут себе селедки из бочки, и прежде чем купить фунт сыру, пробуют десять сортов. Им нравится за гривенник пойти в кино "Золотое Правило", где можно свистеть, когда обрывается лента! Что такое человеческая природа? Возлюбленная. Приятно видеть ее без всяких прикрас.

— Миллионеры на улице Питт! — пробормотала Зельда уже с некоторым любопытством. — Никогда в жизни этого не было.

— А теперь есть, — сказал Мендель, ударяя себя по лбу. — Что такое ум? Комета. Она появляется раз в сто лет! В моих квартирах "де-люкс" богатые пользуются такой же свободой, как и бедные. Они могут носить, есть и желать, что им захочется. По праздникам они приезжают сюда толпами. Особенно теперь, перед Пасхой, мы тут набиты, как сельди в бочке. Жены миллионеров сами закупают продукты на рыбном рынке, как делали это раньше. Они говорят, что это действует на нервы лучше, чем Карлсбад. А мужчины наслаждаются отдыхом. Им нравится эта простота. В конце концов, что такое высшее общество? Индюк. Он горд только до тех пор, пока ты его не съешь. Здесь все наслаждаются жизнью, а не мишурой. Что такое жизнь? Театр. Разные цены, но одно зрелище!

— Да, много глупостей ты тут наделал, — сказала Зельда. Но ей хотелось знать, нет ли тут хитрости со стороны Менделя? Не думает ли он заманить их сюда, на улицу Питт?

Мендель взглянул на часы.

— Скоро у нас будет ужин, — сказал он. — Пройдемте вниз. У меня там закусовая и кофейная. Вы можете перекусить, прежде чем отправиться в Седархерст.

Обратно в Седархерст! Да, скоро они должны уезжать обратно в Седархерст. А ведь они ничего еще не сказали ему о своем намерении ехать в Европу.

Закусочная и кофейная в полуподвальном помещении дома Менделя были набиты посетителями. Люди сидели за столами подле весело шумевших самоваров, другие пристроились у стены около игроков в карты и шахматы, третьи, обло-

котившись на прилавок, жевали сэндвичи и пили разные воды. А в углу старый граммофон с погнутой трубой наигрывал еврейские, русские, румынские народные песни.

Здесь были Глюки с Гершоном Глюком, меховым королем во главе, и известный финансист Симон Варонек, и галантерейный магнат Аарон Аш, и Бладовские, и Каны, и Кунцы! Мендель познакомил Зельду и Сарру со всеми и повел их в кухню, прилегавшую к кофейной, чтобы познакомить их со странным маленьким лысым старичком, склонившимся над кадушкой свежих огурцов.

— Знаете, кто это? — Мендель похлопал старичка по спине. — Это Сигизмунд Краусс, король швейной промышленности, который когда-то торговал солеными огурцами на Скаммель-Стрит! — Да, — вздохнул он. — Теперь уж нет таких огурцов. Соленье огурцов — искусство. Что такое гений? Железо. Оно должно быть в крови!

— Это правильно, — с нескрываемой гордостью согласился Краусс и, вытерши руки о передник, поздоровался с Зельдой и Саррой. — Никто на всем Ист Сайде не мог так солить огурцов, как мы с женой. Весь Нью-Йорк их покупал у нас!

Зельда и Сарра удивленно смотрели на Сигизмунда Краусса, имя которого было известно в самых избранных кругах. А здесь он возился около кадушки с огурцами, приготавливая свежее соленье.

— А вы еще не забыли, как нужно солить огурцы? — спросил Мендель.

— Этого никогда не забудешь, — ответил Краусс. — Как вы сами, Мендель, только что сказали: "Что такое соленые огурцы? Они у человека в крови!"

Затем в кухне Зельда и Сарра повстречали миссис Алму Розенвальд, жену шелкового магната, суевившуюся около плиты. Она готовила на всех знаменитый — "гуляш", которым она когда-то славилась на всем Ист-Сайде.

— Ах, как я рада вас видеть, — сказала миссис Розенвальд, — но у меня нет ни минуты свободной. Приходите ко мне домой, тогда поговорим. Приведите и Сарру с собой. Моя Геральдина, кажется, ровесница Сарре.

На прощанье женщины поцеловались. Зельда целуется с миссис Розенвальд!

А Мендель продолжал.

— Тут один молодой человек страшно хочет познакомиться с тобой, — хитро подмигнул он, беря Сарру за подбородок. — Что такое молодой человек? Перспектива.

И мать и дочь сгорали от любопытства. Кто бы это мог быть?

— Сын банкира! — воскликнул Маранц. — Ты и твоя мать встречали его неоднократно раньше — во сне. Зовут его Оскар Гассенхейм.

Оскар Гассенхейм! Сарра и Зельда чуть не лишились чувств.

— А теперь ужинать, — сказал Мендель. — Вам ведь скоро в дорогу.

Когда они сели за стол, к ним присоединился Бернард, приехавший в автомобиле за Зельдой и Саррой. За столом он с изумлением слушал рассказ Зельды о том, каким образом Мендель превратил старый рабочий дом в великолепный особняк.

— Да, это неплохая идея, — пробормотал, наконец, Бернард. Я думаю, мне придется немедленно купить соседний дом. Вот уж не знал, что требуются такие дома:

— Можешь не беспокоиться, — сказал Мендель. — Я уже веду переговоры о покупке всего квартала.

Бернард покачал головой.

— И кто бы мог подумать, что с этим домом можно делать такие дела? Это действительно счастье!

— Счастье? — вмешалась Сарра. — Нет, я называю это — ум!

— А я думаю, что тут всему виной лень, — прервала ее Зельда. Вы не знаете Менделя. Ему лень было переезжать туда, где живут люди общества, и он придумал такой план, что эти люди сами переехали к нему. Скажи мне, Мендель, что такое лень?

— Изобретение. Оно избавляет тебя от работы.

После ужина Мендель засуетился.

— Ну, а теперь вам пора уезжать, — сказал он. Зельда внимательно посмотрела на Менделя, потом на Бернарда и Сарру.

— Может быть, уже поздно, — неуверенно сказала она. — Может быть... для нас найдется постель... Для меня и для Сарры?

— Вряд ли, — отрезал Мендель.

Зельда подняла глаза вверх. Мендель опустил глаза. Их взгляды встретились. Они долго смотрели друг на друга и оба рассмеялись.

— Я приготовил для вас квартиру № 1, — сказал Мендель. — Я мог бы сдать ее четыре месяца тому назад. Но я ждал вас.

— Ой, Мендель! — воскликнула Зельда.

— Что такое жена? Ревматизм. Она то оставляет тебя, то приходит опять.

ЧТО ЗА СПЕШКА?

Никогда Мендель не предполагал, что простое знакомство поведет к таким запутанным отношениям. Он, конечно, не станет возражать против брака Сарры с тем, кого она полюбит, но любила ли она Оскара Гассенхейма?

— Зельда, что такое истинная любовь? Карета. Она устареела. Что такое современная любовь? Аэроплан. Он не всегда благополучно садится на землю. Современная девушка ищет влюбленности, а не любви. Что такое влюбленность? Воздушный шар. Чем больше его надувают, тем сильнее он лопается. Зельда, ты берешь такую здоровую девушку, как Сарра, и начинаешь отравлять ее всякими фантазиями. Пусть лучше она любит человека ниже себя. Оскар Гассенхейм — птица высокого полета, а ей нужен человек. Что такое брак? Река. Упасть в нее легко, а попробуй выбраться. Что такое влюбленность? Опиум. Ты засыпаешь после него с улыбкой, а встаешь с головной болью.

— Ах, оставь! Сарре не нужно влюбленности, не нужно опиума, не нужно любви. Ей нужен муж! И мы в состоянии найти ей хорошего мужа, Муж! — и мы в состоянии найти ей хорошего мужа! — решительно заявила Зельда. — Я хотела бы, чтобы моя мать отыскала мне такого мужа, какого я нашла для Сарры. Посмотри, Вейсы дали за своей дочкой в пять раз больше приданого, чем можем дать мы. А что они получили? Косого мужа.

— Что такое приданое? Удочка. На него идет только мелкая рыбка. Что такое любовь? Солнце. Ты можешь получить его даром, но не можешь купить.

— У Сарры нет времени для любви, — пробурчала Зельда. — Ей уже двадцать семь!

— Это ничего не значит, — сказал Мендель. — Мудрец говорит: "Женщина никогда не стара для любви, мужчина никогда не стар для брака". Чем позже она выйдет замуж, тем меньше у нее останется времени, чтобы жалеть об этом.

— Сиди и тешься своими шуточками, — сказала Зельда. — Ты будешь сидеть и балагурить, а она будет сидеть и ждать, а чем все это кончится?

Глядя ему в лицо, Зельда, наконец, вызывающе спросила, хочет ли он, вообще, чтобы Сарра выходила замуж, или нет.

— И то и другое, — ответил Мендель. — Если она любит, пусть выходит.

— Какой умник. Она давно уже хочет любить. Но только кого?

— Тогда пусть она любит себя самое.

На этот раз Зельде просто нечего было сказать. Пусть Мендель болтает, сколько ему угодно, но она тоже не будет молчать.

— Разве он ей не пара? — вновь повысила она голос. — Подумаешь, Мендель Маранц, водопроводчик с улицы Питт, пренебрегает Соломоном Гассенхеймом — банкиром!

— Ты хочешь сказать — банкротом, — поправил ее Мендель.

— Неправда! У него просто недостает немного денег, а нам это только наруку. Если бы у него было много денег, то нам бы до него никогда не подняться. Мы немножко подвинем его в банке, он подвинет нас в обществе, а все вместе подвинем свадьбу.

— Ах, Зельда, — усмехнулся Мендель. — Может быть, ты умеешь стряпать, но ты ничего не смыслишь в любви, а между тем это почти одно и то же. Что такое любовь? Кухарка. Она должна знать, что с чем соединять и как разводить огонь. Если она этого не умеет, то она заварит тебе такую кашу, какую ты хочешь заварить между Саррой и Оскаром Гассенхеймом. Ты

хочешь наложить в суп всего: общество, банк, торг, — и забываешь главное — любовь!

— При чем тут кухарка?

— При том, что здесь идет речь о стряпне, — сказал Мендель серьезным тоном. — Существует столько же сортов любви, сколько разных меню. Но всегда должен быть огонь. Нельзя стряпать и нельзя любить без огня. А что такое идеальная любовь? Идеальная кухарка! Она должна руководить огнем, чтобы получилось вкусное блюдо. Может быть, теперь ты меня понимаешь? А?

— Он тут прочитал мне целую лекцию! Он думает, что я не знаю хитростей, думает, не знаю. Он пугает меня кухаркой, чтоб я забыла о женихе, которого подыскала для Сарры. Ничего, мистер Мендель, ты меня не одурачишь. С тех пор как мы женаты, не было еще ни одного дня, чтобы мы не поспорили...

— ... и чтоб я не выиграл в споре! — добавил Мендель.

— Ой ли? — воскликнула Зельда. — Может быть, ты и выигрываешь в споре, но правда на моей стороне.

— Не беспокойся, Зельда. Если Сарра выйдет замуж так же хорошо, как ты, то я вполне буду доволен.

— Не беспокойся, Мендель, она выйдет лучше. Она научилась кое-чему на моих ошибках.

Мендель расхохотался.

— Что такое брак без ошибок? Рот без зубов. Он не может сделать тебе больно, но он не даст тебе и удовольствия. В конце концов, Зельда вот уже двадцать девять лет, как мы плетемся друг за другом. И что же! Я мог найти себе невесту с деньгами, ты могла выйти за человека с именем. Я сделал ошибку и ты сделала ошибку. Что такое любовь? Слепец. Он спотыкается, даже когда идет правильным путем.

— Значит, ты хочешь сказать, чтобы и Сарра так голодала, как когда-то мы? — спросила она.

— Нет. Что такое брак? Парижское платье. Чем дороже ты за него заплатишь, тем меньше в нем толку. Что такое общество? Очередь на трамвай. Чем больше ты жмешь, тем больше тебя выжимают. Зельда, не нажимай! Сарра должна выйти за-

муж за того, кто ей нравится, а тебе должен нравиться тот, за кого она выйдет замуж.

— Хорошо. Сарре нравится тот, кто нравится мне! — торжественно сказала Зельда.

АХ, ОСКАР!

Бернард Шнапс был тайным поверенным Зельды в ее делах с Гассенхеймами. По ее мнению, он был вполне подходящим лицом, чтобы вести игру с Гассенхеймами — коварным маленьким банкиром и его толстухой женой.

Бернард, сознавая всю важность вверенной ему миссии, сидел в салоне Гассенхеймов на Пятой Авеню и пытался сказать что-то очень важное. Но старый Соломон Гассенхейм начинал кашлять всякий раз, как только Бернард хотел говорить. И тогда Бернард, сбитый с толку, обратился к его жене, Деборе, которая громовым мужским голосом отвечала ему.

— Я такой человек, — начал он, — я люблю говорить прямо и откровенно. Да — да; нет — нет! Я смотрю вещь: если она мне не нравится, — до свиданья! А если нравится, — сколько?

Дебора удивленно посмотрела на него.

— Что вы хотите сказать этим "сколько"?

— Э-э-эх! — старый Гассенхейм закашлялся. — Разве ты не понимаешь? Это насчет Оскара.

— Совершенно верно! — подхватил Бернард. — Я об Оскаре и о Сарре, и о них вместе. Я такой человек — я люблю все делать быстро и хорошо. Я вам нравлюсь, вы мне нравитесь — кончено!

Он встал, весь красный от волнения, крупные капли пота выступили у него на лбу, его пальцы победоносно играли цепочкой от часов.

— Подождите минутку, мистер Шнапс, — сказала миссис Гассенхейм уже не таким важным тоном. — Что вы спешите? Присядьте. Может быть, вы еще будете пить с нами чай?

— Я такой человек — я не люблю чаю! Я люблю кончать все сразу, — заявил Бернард, боясь, что разговор опять уйдет в сторону. — Какую замечательную девушку берет себе ваш сын.

Сарра принадлежит к одному из лучших семейств на улице Питт — то-есть, то-есть... ну, как это называется? А какое она получила образование! И при этом она очень скромна, как и я. Я такой человек — я не люблю хвалить себя. Пусть меня другие похвалят...

Старого Гассенхейма опять начал душить кашель, но Бернард вызывающе повысил голос, чтобы заглушить его.

— У нее такое лицо, — Шнапс продолжал, — что когда ее увидит молодой человек, он не может ни есть, ни спать целую неделю. Вот какое у нее лицо! А как она шьет — то-есть, я хочу сказать — поет! Ой! Если бы вы знали, какой у нее голос, миссис Гассенхейм! Она вполне современная девочка. Она прыгает и танцует, и полирует ногти, и играет на виктроле — то-есть, я хочу сказать, — рояле. А если бы вы только послушали, как она говорит по-польски!

— По-польски! — удивленно протянула миссис Гассенхейм.

— Ха, ха, ха! — расхохотался Бернард, несколько смущенный. — То-есть, я хочу сказать — по-французски. Она говорит на стольких языках, что она уже не может отличить один от другого, то-есть, я хочу сказать, — я не могу отличить. Но какая тут разница? — быстро заключил он, чтобы отвлечь их внимание. — У нее прекрасный розовый цвет лица, а это самое главное!

— А фигура? — спросила миссис Гассенхейм, бросая ободряющий взгляд на Оскара, который уже начинал скучать. — Скажите нам, какая у нее фигура.

— О-о, фигура!* — многозначительно протянул Бернард. — На этот счет мы договоримся после. Я такой человек — я не люблю торговаться. Когда речь идет о приданом, я люблю спорт. Долларом больше, долларом меньше — какая разница! Главное — чтоб вы были довольны.

— Э-э-эх! — закашлялся банкир. — Мы вполне довольны... но мы все-таки думаем...

На мгновение Бернард смутился.

— О, я понимаю, что вы хотите сказать. Я такой человек —

*Игра слов. Английское "figure" означает "фигура" и "цифра". Бернард подразумевает, "сколько за ней приданого?"

я не люблю расхваливать. У меня правило — бери или не бери!

Банкир и его жена встали, Бернард, сообразив в чем дело, тоже встал.

— Ну-с, как будто мы договорились обо всем, — сказал он, — только я такой человек — я никогда ни в чем не уверен. Когда они поженятся, тогда уже...

Вечером Бернард поведал Зельде о результатах своей миссии:

— С этими людьми так: раз, два, три — кончено! Если они кашляют, зевают и не дают тебе говорить, это значит — "да." Если улыбаются и приглашают заходить еще, значит — "нет". Но, Зельда, сестра, ты уже предоставь все мне. Я такой человек — я люблю кончать то, что начал. Ты не беспокойся.

На другой день в половине третьего огромный лимузин остановился напротив дома Менделя Маранца, и из него вышел Оскар Гассенхейм, поцеловав на прощание даму, сидевшую рядом. Дама, его мать, помахала ему рукой, тяжело сдвинулась с места и, усаживаясь поудобнее, закрыла глаза. Сердце ее билось, исполненное страха и надежды.

Как часто приходилось ей провожать Оскара до дверей, и он не решался войти. Он давно мог бы составить себе хорошую партию. Многие девушки дрожали в его присутствии. Но он тоже дрожал, в этом была вся его беда.

— Образование у меня есть, — растерянно бормотал он. — Внешность есть. Все есть. Но у меня нет характера, когда дело касается женщины.

И он беспомощно пожимал плечами.

Но терпение и финансы Гессенхейма достигли той точки, что ему, наконец, пришлось сделать сыну последнее предупреждение.

— Или ты должен достать себе жену, или работу, — решительно сказал Гассенхейм, заглушая всякие возражения отчаянным кашлем.

Оскар в нерешительности стоял у дверей дома Маранцев. "Жена или работа" — стучало у него в груди. И все-таки он скорее согласен любить, чем работать. Он старался подбодрить себя и решительно застегнул пуговицы своего пальто.

И вдруг ему захотелось бежать.

— Здравствуйте, мистер Гассенхейм! — окликнула Зельда. Она следила за ним из окна и, обеспокоенная его медлительностью, вышла ему навстречу.

— Я только что собирался... войти, чуть слышно пробормотал он.

Она улыбнулась, непринужденно взяла его под руку и провела в гостиную.

— Вы, может быть, хотите поговорить с Саррой наедине? Она сейчас придет.

— Не к спеху, — Оскар предупредительно окинул взглядом помещение в поисках двери.

— Будьте так добры, миссис Маранц, — пробормотал он, — я... я хотел бы поговорить с... с мистером.

— С отцом! — воскликнула Зельда, поглядывая на сидевшего в кресле с газетой Менделя. Я не знаю, о чем вы можете говорить. Что мужчины понимают в таких делах? — она многозначительно повернулась к Менделю и сказала:

— Ты ведь занят, Мендель, не так ли? Ты, кажется, с кем-то должен иметь свидание?

— Что такое свидание? — сказал Мендель. — Подарок. Ты тогда дорожишь им, когда он представляет ценность. Для такого гостя, как Оскар Гассенхейм, я согласен отказаться от всякого свидания.

Зельда, угрожающе посмотрев на Менделя, неохотно удалилась из гостиной. Несколько минут царил неловкое молчание. Оскар застегивал и расстегивал пуговицы сюртука.

— Не важно! — воскликнул он. — Я люблю ее!

Мендель поднял глаза. Оскар опустил глаза. Мендель покачал головой.

— Вы очень милый молодой человек, Оскар, но вы не знаете женщин. Что такое женщина? Ружье. С ним опасно играть. Что такое любовь? Насморк. Легко схватить его, но трудно вылечить.

— Не важно! — сказал Оскар. — Я люблю ее!

Мендель поднялся с кресла. Дело, по-видимому, было не таким легким, как он думал.

— Оскар, — энергично сказал он, — я говорю с вами на основании горького опыта. Что такое опыт? Полисмен. Он всегда является, когда уже поздно. До женитьбы ты думаешь о любви одно, после женитьбы совсем другое. Что такое жена? Несчастье. Если ты будешь его искать, всегда найдешь.

— Не важно! — решительно сказал Оскар. — Я люблю ее!

Мендель пристально оглядел молодого человека и начал говорить медленнее.

— Что такое совет? Лекарство. Его любят давать, но не любят принимать. Вы думаете, я против вашего брака? Нет! Если она согласна, и я согласен.

Оскар растерянно смотрел на него.

— А если вы согласны, то и она будет согласна? — робко спросил он.

Мендель изумленно оглядывал его.

— Послушайте, Оскар. Вы, собственно, на ком хотите жениться? В наше время на отцах не женятся. Вы должны идти прямо к невесте.

— Кто должен идти? Я?

— А кто же? Я? — воскликнул Мендель.

— Видите ли, я могу говорить с кем угодно, — сказал он, набираясь духу, — но когда дело касается женщины...

— Что такое застенчивость? Корь. Вы уже слишком стары для нее.

— Кто? Я? — переспросил Оскар. — Только не я! У меня это с детства. Видите ли, я здоров. Я красив. Я могу говорить. Но я не знаю, что такое со мной. Когда дело касается женщины... Что же мне делать? — простонал Оскар. — Бежать с ней?

— Вот именно — бежать! — подхватил Мендель. — Если вы не можете сказать: "Я люблю тебя", говорите: "Давай убежим". Это гораздо легче и ей больше нравится.

Мендель сказал лакею, чтобы он доложил Сарре, а сам, легонько хлопнув Оскара по спине ладонью, оставил его наедине с собой.

Несколько мгновений одиночества, как каменная гора, навалились на Оскара Гассенхейма. Он прирос к полу, не мог двинуться с места. Тихое пение засовов, когда открылась

дверь, так подействовало на него, что его сердце готово было вырваться из груди. Но тут показалась Сарра, вся зардевшаяся и возбужденная, и Оскар, не будучи в состоянии сразу умереть или исчезнуть, замер на месте. Сарра смело шла к нему с протянутой рукой. Оскар не знал что сказать. Затем он нерешительно взял ее руку и сжал, но так, что сам весь покраснел, а Сарра побледнела.

— Ах! Какой вы сильный! — сказала она.

Оскар улыбнулся.

— Гм! — пробурчал он, подыскивая слова. — Я... э-э... что такое сила? Телефон! Она хорошо соединяет!

Сарра удивленно посмотрела на него.

— Что вы хотите этим сказать?

"А Бог его знает", — подумал Оскар, вытирая лоб.

— Я... я хочу сказать, — пробормотал он, — ха! ха! Сильное рукопожатие — все равно... что хорошее соединение, не так ли?

— Ага, понимаю, — медленно проговорила Сарра, с трудом уловив скрытый смысл его фразы. — Какой вы остроумный!

— Кто? Я? — выкрикнул Оскар, отчаянно силясь что-то припомнить. — Э-э... Что такое остроумие? Смерть. Оно приходит неожиданно.

Сарра засмеялась. Он ей казался очень интересным.

— Вы остроумнее моего отца! — воскликнула она. — Я понимаю его сразу, но у вас все гораздо глубже.

При слове "отец" Оскар решил воспользоваться моментом.

— Что такое отец? — сказал он. — Корь! Вы уже слишком стары для него... — он смутился, он силился припомнить что-то еще. — Я... я хотел сказать, — поправился он, — что вы стары для него, но... не для меня!

Сарра была страшно удивлена и... обрадована. Он все время говорит такие неожиданные вещи»

Наступила тишина. Она чувствовала, что следующая минута будет решительной. Что он скажет? Как он все это выразит? Все пошло кругом у нее перед глазами: Оскар, комната, улица, весь мир. Она с трудом владела собой, готовясь выслушать его, а он с трудом владел собой.

— Сарра, — начал он наконец низким, тяжелым голосом, и

она вся вздрогнула, слыша, как он произносит ее имя, — Сарра, я... я не в состоянии выразить! — простонал он, в отчаянии простирая руки вперед и заключая ее в свои объятия. Сарра прижималась к нему, закрыв глаза и тяжело дыша. Она его поняла!

Молчание и тысяча ослепительных солнц! Затем Сарра нежно выпуталась из его окаменелых объятий и ясным взглядом посмотрела ему в глаза; оба они моргали, как после солнечной ванны. Внезапно Оскар, вспомнив что-то, отдернул свою руку, как если бы его коснулись каленым железом, Сарра обиженно посмотрела на него.

— Я никогда не держал женщину за руку, — пробормотал он.

— Вы такой странный. Никогда нельзя узнать, что вы будете говорить в следующую минуту.

— Я и сам не знаю, — пробормотал Оскар. Он думал о том, как бы сказать ей о побеге. — Сарра, — начал он на авось, представив себя судьбе, — что такое зубная боль? Удобный случай! Когда он приходит, не надо его терять. Бежим со мной!

— О, Оскар! — все, что могла она сказать, побежденная втиеватостью его речи. А Оскар вздыхал и ахал, изумленный внезапностью, с какой он добился цели. "Какая магическая сила заключается в моих словах! — думал он. — От "кори" — к предложению, от "зубной боли" — к побегу". Он был упоен своей победой. Он, Оскар, такой кроткий, "когда дело касается женщины", теперь держал женщину в своих объятиях.

А в соседней комнате, сидя в кресле и глядя в узкую щель между бархатными портьерами, Мендель наблюдал за этой сценой. Приглушенный смех заставил его обернуться. Рядом стояла Зельда.

— Ты неплохо настроил Оскара, — сказала она с язвительной усмешкой. — Но я не хуже тебя настроила Сарру. Как тебе нравится? А? В то время, как ты учил Оскара, как нужно потерять Сарру, я учила ее, как можно приобрести Оскара.

И она сделала усилие, чтобы подавить смех.

— Мендель, ты, может быть, хорошо изобретаешь машины, но что касается устройства браков, то тут изобретательница — я!

— Что такое жена? — сказал Мендель. — Китаец. Она смеется даже на похоронах.

Вечером того же дня миссис Гассенхейм провожала колеблющегося Оскара к месту его побега. Перед домом Маранцев остановилась огромная машина, и из нее нетвердой походкой вышел Оскар.

— Будь осторожен, Оскар, — предупредила Дебора, целуя сына. — А машину я сейчас пришлю обратно.

Один! Оскар чувствовал, как зуб не попадал на зуб. А у себя в комнате, сжавшись от страха, ждала его Сарра. Кончилось наконец ее долгое мучительное ожидание. Оскар не мог двинуться с места. Он вынул часы, потом спрятал их. Не заметив, который час, он вынул их опять. Вместо того чтоб подняться наверх по лестнице, он быстро зашагал по тротуару. Затем он повернул обратно и бегом влетел в дом.

Свидание было быстрым, молчаливым и решительным. Сарра прошептала чуть слышно: "Ах!". Оскар тоже говорил шепотом.

— Скорей! Машина ждет. Нужно спешить, чтоб нас не накрыли.

У Сарры стучало в висках.

— Куда мы едем? Далеко? Никогда не вернемся?

— Не бойся! Бери шляпу.

Спустя двадцать минут, они находились уже в квартире раввина Боруха Дановича. Еще полчаса, и они будут мужем и женой! А потом? Потом она пойдет за ним хоть на край света. Умирала ее старая жизнь, начиналась новая.

Седовласый старый раввин, любезно улыбаясь, провел их в гостиную. Но Сарра была слишком возбуждена, чтобы слышать или видеть окружающее. Ей казалось, что она слышит знакомые голоса, видит знакомые лица. Отец, мать, дядя Бернارد и другие. Странная иллюзия...

Но это была не иллюзия. Они на самом деле подходили к ней. Они, наверно, гнались за ней, чтобы предупредить их побег. Но она не покорится. Она бросит им вызов и немедленно уйдет отсюда куда угодно. С Оскаром!

Но что это тут происходит? Бесшумно распахнулись огром-

ные двери, она видит пышно убранный пиршественный стол. Блестящий оркестр играет свадебный марш.

— Ну-с, Сарра! — весело сказал Бернад. — Ты хотела бежать, вот и бежала. А теперь отпразднуем свадьбу. Мазел тов! Ха, ха, ха! Ты удивлена! Я всегда так! У меня всегда есть что-то в запасе! Твой отец сказал: "Что такое девушка? Романтика. Ей нравится немножко побегать." И когда Оскар спросил меня совета, должен он бежать или нет, я сказал ему: "Беги!"

— Мы все советовали ему бежать, — добавила миссис Гассенхейм, задетая тем, что Бернад весь успех дела приписывал себе.

Сарра смотрела то на одного, то на другого, ничего не понимая.

— И вы все одобрили побег? — спросила она.

— Ко-оонечно! Почему же нет!

Сарра повернулась к Оскару.

— И вы советовались с ними?

— Кто? Я? — пробормотал он теряясь. На помощь подоспел Бернад.

— Конечно! Почему же нет? Он не хотел бежать без разрешения!

— И без приданого, — невинно вставила Зельда.

Сарра снова повернулась к Оскару.

— Как вы осторожны, — сказала она. — Но теперь пришла моя очередь быть осторожной, — она говорила металлическим голосом. — Вы все одобрили наш брак, но я его не одобряю!

— Что это она говорит? — застонала Зельда, ломая руки. — Она сошла с ума! Такой милый молодой человек!.. Бернад, поговори с ней.

Бернард подошел к Сарре.

— Сарра, я такой человек... — Но тут он не выдержал. — Что за черт! — заорал он. — Я не хочу каждый раз оставаться в дураках. Вот весь мой разговор!

— Я говорила... я говорила, не надо связываться с этими... с улицы Питт! — закричала Дебора. — Идем, Оскар. Есть много невест получше!

Она выпустила заряд гордого негодования, но душа ее плакала.

— Ой, бедный Оскар! Было уже так близко и не удалось. Останется холостяком на всю жизнь.

— Раньше пусть поищет себе работу, — неожиданно вставил его отец, демонстративно кашляя в лицо Зельде.

— Сумасшедшая! — стонала Зельда, все еще не веря своим глазам. — Она сама не знает, что делает.

— Она все прекрасно знает! — сказал Мендель, первый раз за все время. — Вся беда в том... Что такое правда? Мачеха. Никто ее не любит.

— А, это ты заговорил! Ты!

При виде общего врага Гассенхеймы, Бернад и Зельда забыли о своих взаимных раздорах и угрожающе двинулись на него.

— Грабитель! Лентяй! Смутьян! — наступали они на Менделя. — Если бы не твой сумасшедший побег, какая была бы прекрасная свадьба! И хороший обед, и вино, и музыка, и кантор!

— Изобретатель! — закричал Бернад, долбя себя пальцем по лбу. — Если ты такой умный, то зачем же ты сказал нам явиться сюда, когда они еще не повенчаны. Пусть бы бежали, повенчались, а потом уже...

— Потом было бы поздно. Что такое неудачный брак? Чухотка. Лучше ее предотвратить — потом не вылечишь! Сарра была влюблена в романтику, а не в Оскара, и не замечала этого. Что такое романтика? Цветная капуста. Когда ее сварить, она пахнет, как простая капуста. Что такое жизнь? Пароход. Что такое любовь? Туман. Что такое брак? Скала! Нужно знать, как править рулем. А вы все правили не туда. Бернад думал о вознаграждении, Зельда — об обществе, Гассенхеймы — о приданом, Сарра была ослеплена романтикой, и все думали, что ищут любви. Что такое любовь? Судебный пристав. Его не надо искать. И что такое любовь? Малярия. Всякий знает ее симптомы! И что такое любовь? Чихание. Когда оно приходит, ты не можешь удержаться.

Окончание в следующем номере.



Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

ШАМПАНСКОЕ С ЖЕЛЧЬЮ

"Ибо вижу я тебя, исполненного горькой желчи,
и в узах неправды".

Деяния апостолов

"Лето катится неудержимо, — думал театральный режиссер Ю., убирая после ухода гостей со стола на кухне пустую посуду и остатки еды, — невозвратно, необратимо, еще черт знает как, — думал Ю., гремя пустыми бутылками. (Было две бутылки из-под крымского шампанского, бутылка из-под "Зубровки" и бутылка из-под "Саперави"). — Некому бутылки убрать, живу один, — думал Ю., — три жены укатились невозвратно, неудержимо... Если б наподобие чеховской драмы "Три сестры" кто-либо написал бы "Три жены" — хороший получился бы спектакль."

От второй у Ю. рос любимый сын, мальчик восьми лет; третья ушла к молодому актеру. Он, Ю., ночью храпит, чешется, сморкается, а у молодого актера маленький, костлявый задок туго обтянут джинсами.

Ю. прошел темными комнатами. Три комнаты в центре Москвы, в старом барском доме — награда от Покровителя. Ранее квартира принадлежала известной театральной фамилии,

вымершей без наследников и оставившей после себя хаос и запустение, как в усадьбах спившихся русских бар. Разбитый паркет, странные, пахнущие мочевиной пятна на стенах, кладовая, туго забитая пустыми бутылками из-под водки. (Только водка и никаких других). Пришлось делать капитальный ремонт, начатый еще с третьей женой, собственно, ею и начатый, но оконченный уже без нее.

Ю. открыл балконную дверь. Балкон вкосу летел над ночной Москвой. "Ночь, улица, фонарь, аптека, — думал Ю., — упал, и нету человека". От выпитого с гостями алкогольного разнообразия, от съеденных рыбных консервов и жирной колбасы, от ночной августовской сырости лихорадило, было тревожно и опять чувствовалось, как уже неоднократно, какая-то близкая опасность где-то, зачем-то или за кем-то скрывающаяся. Вот-вот должно было произойти нечто непоправимое. Но время шло и непоправимое не происходило.

По своему происхождению Ю. был из бывшей черты оседлости, и эти места своего детства и юности он любил, хоть и не афишировал, карьеру же свою делал в самой гуще русского национального искусства, сочетая хороший мужской профессионализм с мягкой женственностью в обхождении с покровителями и врагами. Это умение Ю. вовремя сдать, отдаться врагу своему с обаянием в духе истинно еврейского раннего христианства не раз спасало и позволяло добиваться удачи там, где, казалось, неизбежны были беды.

Так подружился Ю. с Кашлевым, сотрудником КГБ. Встретился Ю. с Кашлевым в одной из московских гостиниц, точнее, Кашлев встретился с Ю. В гостинице этой остановилась прибалтийская актриса, первая взрослая любовь Ю., начавшего карьеру в прибалтийском театре. Удивительное было время. Сколько горячих страстей, волнений, ночных прогулок по сухой золотистой прибалтийской листве. И вот опять звонок, опять — привет из Прибалтики. Ю. тогда тоже был один, находился в промежутке между второй и третьей женой, жил далеко на окраине Москвы, снимал комнату в Нагатино. В номере у актрисы он засиделся, точнее, залегался допоздна. Вышел из номера глубокой ночью. Не успел спуститься на лифте, как

дежурная по этажу позвонила, и у входа из лифта его уже ждали. Человек, ожидавший Ю., молча взял его об руку, крепко, точно клещами, и молча повел через вестибюль, так же крепко держа об руку. Но поскольку Ю. сразу же сдался, нажатие это несколько ослабело, и в дежурную комнату Ю. вошел уже добровольно, без внешнего принуждения. Так же без принуждения Ю. сам предъявил документы и на вопросы Кашлева отвечал дружелюбно. Лицо у Кашлева было русско-монгольское, кожа желтоватая, глаз косой, волосы гладко зачесывал назад и, несмотря на сухое сложение, часто потел, вытирал платком шею и затылок.

Когда Ю. получил новую квартиру и развелся с третьей женой, Кашлев вдруг как-то позвонил ему. Начал захаживать на "кухоньку", кстати довольно обширную. Пил вначале умеренно и разговоры вел тихие, аполитичные, про то, как солонину из мясной дичи готовят в бочках в Сибири или нечто подобное. Потом пить стал крепче. Однажды рассказал:

— В пятьдесят четвертом году многих работников органов уволили. Одних устроили на другую работу, а других и устривать не стали — езжайте на периферию. Много было самоубийств. Друг мой, вместе в кабинете сидели, повесился в туалете. Я открыл дверь — он висит. Я перочинным ножиком веревку обрезал, он упал, я на него, как-бы в обнимку, не удержался на ногах. Слышу, он как-бы произнес — Ох — или — Ах — шумно. Это в нем воздух застрял, а я думал — жив. Кинулся за врачом. Врач приехал, доказал, что друг мой еще в два часа ночи умер. А жена его потом на форточке повесилась...

От водки Кашлев пьянел умеренно, но как-то выпил бутылку дорогого французского шампанского и вдруг опьянел сильно. А опьянев, обозлился.

— Вы, — говорит он Ю., — нашего русского царя убили... Вы — международная жидня.

Ю. притих, съезжился от таких неожиданных для чекиста слов. С самого взбаламученного национального дна, видно, подняло эти слова французское шампанское. Сидел тогда Ю. в собственной "кухоньке", как на допросе: то ли в ЧК, то ли в деникинской контрразведке. "Сейчас, — подумал в хмельном

страхе Ю., — сомнет чекист, повалит на паркет и начнет хлебным ножом на коже красные звезды вырезать". Однако никаких дополнительных контрреволюционных слов Кашлев не произнес, ничем более он Ю. не угрожал. Оскотинился лишь сильнее обычного, ел сардины из баночки руками, а когда уходил, то поцеловал Ю. в подбородок мимо губ и ущипнул пальцами за зад. После его ухода у Ю. долго лицо горело огнем, как у девицы, которую барин обесчестил и которая только этим молчаливым стыдом своим в темноте где-либо, в закулке и может протестовать. До утра Ю. провел в глухой тоске, в отчаянии. Конечно, Ю., известный столичный режиссер, у него высокий Покровитель, но Ю. знал, что есть некие зоологические проблемы, которые и сам Покровитель старается обходить. Покровитель, при всех своих должностях и званиях, ведь тоже приемыш у этой власти, кровь его тоже не мазутом пахнет. А самое опасное в национальной зоологии, это обида законных единокровных детей на свою родную мать.

Например, сидит на служебном входе вахтерша. Вахтерша вахтершей, а на праздник Победы две медали одевает: "За победу над Германией" и "За оборону Москвы". Ночью на крышах дежурила в сорок первом, зажигательные бомбы гасила песком, на руках ожоги имеются. Кстати, желтизной кожи Кашлева напоминает, но постарше. Если не в матери, то в старшие сестры Кашлеву годится. Ю. с ней отношения старался сохранять хорошие: и улыбнется, и здоровья пожелает. И она в ответ — того же и вам. Но вдруг окликает.

— Вам сегодня с утра пьесу приносили.

— Кто?

— Не упомню. Записала где-то на газетке, да найти не могу.

— Где же пьеса?

— Пьесу я не приняла. Мало ли пьес пишут, всех принимать, что ли? Пришел неласковый. Я тут тридцать лет сижу, а его первый раз вижу.

— Да кто ж приходил. Павлина Егоровна?

— Фамилия странная... Болезненная... Вроде бы простудился... Вот нашла на газетке, — одевает круглые очки и читает как-бы по складам, — Першин-горл.

— Гершингорн, — хватается за голову Ю., "Гершингорна обидели, — думает Ю., — еле уговорил его принести, еле согласился. Поди теперь договорись с капризным талантом, поди уговори обиженное тщеславие. Зачем, зачем я попросил второпях принести пьесу в театр, а не ко мне домой. Першингорл — нет; конечно, псевдоним необходим, но это уже второй этап. Главное, чтоб пьесу прочел Покровитель."

Пьесу Гершингорна читали у Ю. все на той же "кухоньке". Было время, интеллигенция собиралась в салонах под зеленой лампой, а на "кухоньках" лакеи щупали кухарок. Есть какой-то особый оскорбительный смысл в этом добровольном самовыселении нынешнего интеллигента-мещанина из собственных комнат на собственную кухню. Как дворянская эмиграция вспоминала с умилением брошенные барские усадьбы или брошенные хутора, так нынешние, уехавшие в эмиграцию вспоминают брошенные московские и ленинградские "кухоньки". Сколько слабого, праздного, ненужного было в этом кухонном времяпрепровождении, а все же случаются на "кухоньках" трогательные, искренние моменты.

Когда Гершингорн окончил чтение пьесы, все сидели молча. Окна были распахнуты в теплый лунный вечер, и на кухне приятно пахло легким белым вином.

— Так он же Гоголь! — вдруг восторженно, романтично воскликнула пожилая дама.

— Нет, Чехов, — спокойно, бытово возразил ей молодой человек.

Приятно, приятно ласкать непризнанного гения. Как часто, пишет Шекспир, желая подчеркнуть торжество момента, "все уходит при звуках труб". Уходят, чтоб заняться текущими, живыми проблемами, а гений остается в своей неживой, разряженной, горной атмосфере, где дыхание затруднено, а состояние неестественно и напоминает длительную, непрерывную агонию со всеми признаками отсутствия бытового сознания и присутствия сознания потустороннего. Поэтому нужда в гениях гораздо меньшая, чем это кажется на первый взгляд. Особенно, в непризнанных. Если уж ты гений, так сиди где-либо на недоступной высоте в альпийском замке своем или сред-

нерусской усадьбе. А на этих непризнанных и доступных смотришь со страхом и раскаянием, переходящим как естественная реакция самозащиты в дерзость и насмешку. "На свете счастья нет, но есть покой и воля". Преступник и гений, каждый со своего конца лишают и покоя, и воли. Причем в наше-то беспощадное время, когда российскому интеллигенту хочется демократии хотя бы на собственной кухне. Тишины хочется, тишины, какая стоит где-либо на далеком болотистом пруду. Простоты хочется, чтоб все просто было, как утиное побрякивание или свиное похрюкивание.

Вот приезжает к Ю. Юра Борщенко, сокурсник по институту, провинциальный режиссер. В столице люди стареют быстрее, чем в провинции, может, потому, что в провинции все менее всерьез. В столице взрослые страсти, в провинции детские подражания.

— Ставил я пьесу на революционную тему, — говорит Юра, аппетитно жуя им же привезенную в подарок черкасскую колбасу, — обращаюсь в управление культуры, прошу тридцать винтовок. Бухгалтер управления пишет резолюцию: хрена — десять. Так и пишет — хрена. Прошу пять пулеметов. Пишет: хрена — один. Прошу двадцать сабель. Хрена — десять.

Ю. весело, вольно смеется, как не смеялся уже давно. Реденькие седеющие волосы у Юры зачесаны через загорелую лысину, но глаза на одутловатом лице выпуклые, туманно-голубые, как у невинных младенцев. Когда Ю. засмеялся, засмеялся и Юра, но тут же закашлялся и кашлял долго надсадно.

— Курить надо бросить, — говорит Юра, вытирая глаза, — да разве бросишь при такой жизни... На спектакле что получилось? За кулисами сутолока. Белые не успевают передавать ружья красным, красные — белым. В результате, когда те и другие одновременно вышли на сцену для рукопашной схватки, красные оказались безоружными, а белые с оружием. Мизансцена построена правильно: красный лежит на белом. Но красный без оружия, а белый с оружием. Вызывают меня в управление: "Ты, мать твою, что делаешь? Ты как революцию показываешь?" Я сразу бумагу с резолюцией — "Хрена!". Это спасло. А недавно попросил сто яиц для горизонта сцениче-

ской перспективы. У нас на дерюге горизонт делают: яйца, спирт, мыло, скипидар. Так спирт выпили, яйцами закусили, горизонт только из скипидара и мыла сделали. Он и облупился.

Юра уже давно уехал к себе назад в провинцию, к своим веселым бедам, а Ю., нет-нет, да и вспомнит этот облупившийся горизонт из скипидара и мыла.

Вспомнил Ю. его на заграничных гастролях в Западной Германии, куда театр отправился в июне. Везли несколько спектаклей, в том числе и его, Ю., спектакль-премьеру, по Шиллеру. Ю. уже бывал за границей, в Югославии и Греции, но Германия произвела на него шоковое впечатление. Тем более, что видел он, как всякий турист или гастролер, лишь фасад, и фасад этот действительно был параден для российского человека. Улицы чистые, зеленые, аккуратно мощенные, без ям и колдобин. Люди на улицах друг на друга не огрызаются, не подгоняют, не толкают. Кругом такое обилие, что жалко продавцов. Ю. в свободное время ходил бы только и покупал в угоду вежливым продавцам, но расплачиваться было нечем, немецких марок выдали мало, и Ю. берег их, в рестораны не ходил, питался на каждодневных приемах салатом, бутербродами и соками или легким кислым вином, рассчитывая купить себе приличные джинсы и что-либо сыну своему от второй жены. Германия, вообще, производит на российского человека впечатление большее, чем, например, Греция или даже Франция. Там совсем все чужое, а в Германии что-то родственное, что-то российское, но лучше, богаче, и есть надежда, что когда-нибудь и мы будем такими, и у нас будет так. Особенно нравились Ю, немецкие вечера, когда люди в вольных, спокойных позах сидели за столиками на тротуарах под открытым звездным небом, чувствуя себя так же надежно, как дома, и давая тем понять, что весь город с его витринами, вывесками, автомобилями — это и есть их дом, и здесь на улицах господствуют они, тихие мирные граждане, а не, как в Союзе, — хулиганы и милиционеры, перед которыми мирные советские граждане одинаково беззащитны.

Спектакль Ю., по Шиллеру, немцам нравился, и на дискуссии

ях Ю., не нарушая долга советского гражданина, говорил только то, что немцам нравилось, вызывая аплодисменты. О спектакле написали несколько известных немецких газет, и в Дюссельдорфе к Ю. в гостиницу пришла немецкая журналистка брать интервью. Журналистка была женщиной лет под тридцать, темноволосая, с длинными темными ресницами. Она была на голову выше Ю., который, впрочем, был ниже среднего роста. Звали журналистку — Барбара. Джинсовая светло-синяя, почти голубая куртка, белая спортивная рубашка, свободно расстегнута, так, что мелькала сочная большая грудь, джинсы туго обтягивали окорока. Барбара прилично говорила по-русски, а недостающее Ю. заменял плохим немецким, который специально изучал, готовясь к Шиллеру. Впрочем, возможно, это был отчасти и идиш, который Ю. знал со времен своей жизни в бывшей черте оседлости. Они с Барбарой проговорили больше трех часов, и чем больше Ю. говорил, тем меньше чувствовал стеснение. В интервью Барбаре Ю. сказал, что хочет продолжить работу над шиллеровской драматургией, поставить неоконченную драму Шиллера "Димитрий" на тему русского смутного времени. Это было смело для западного интервью, поскольку Ю. знал, что к его идее в инстанциях относятся неодобрительно. Русское смутное время полно исторических параллелей, тем более, если о русской смуте пишет немец, а режиссировать хочет еврей. Но Ю. все же надеялся, как всегда, на Покровителя, который был не только директором театра, но и знаменитым актером, романтиком-резонером, и которого Ю. надеялся соблазнить в который раз шиллеровскими "Бурей и натиском". Заговорили о Шиллере, о бунтарстве в его драмах и вере в идеалы гражданской свободы, о его отношении к Французской революции и якобинской диктатуре. Потом о женщинах, игравших и в жизни Шиллера и в его драматургии роковую роль. Барбара рассказала, что студенткой писала работу о Шарlotte фон Кальб, приятельнице и любовнице Шиллера, в доме которой одно время служил гувернером поэт Гельдерлин. Ю. уже сидел рядом с Барбарой на гостиничном диванчике, как бы невзначай каса-

ясь ее то коленом, то рукой, вдыхая сладкий запах ее духов, которые надолго, может, навсегда, будут ассоциироваться для него с запахом свободы. Кружилась голова, сохло в горле.

— Пойдем в кафе, — угадала его состояние Барбара, — пить хочется. И есть тоже.

Они встали и вышли из номера. "Хорошо, — думал Ю., — иду с женщиной по гостиничному коридору, и никто не смотрит мне вслед. Это и есть свобода, которая пахнет духами Барбары. О запахе свободы и должен быть мой спектакль", — думал Ю., пока он и Барбара ехали в лифте в свободном демократическом обществе японцев и каких-то англоязычных людей.

Но едва Ю. вышел из лифта, как его крепко, точно клещами, взяли об руку. Это был Кашлев. Ю. был ошеломлен лишь первое мгновение. Подсознательно он всегда чувствовал, что его могут взять об руку в Дюссельдорфе, точно так же, как и в Москве. Вдруг вспомнился театральный задник, о котором рассказывал Юра Борщенко, — горизонт-дерюга, пропитанная скипидаром и баннным мылом, на котором намалевано восходящее солнце родной отчизны. Этот дерюжный горизонт всегда с нами, куда бы мы ни ехали и какие бы свободные сны нам ни снились, потому что наша свобода пахнет скипидаром и баннным мылом. Но Кашлев, опять Кашлев... Совпадение. Кто не верит в совпадения, можно отослать в крымский ялтинский газетный архив, пусть полистает "Ялтинскую правду" за июль семьдесят первого года. На последней странице одного из номеров помещено траурное объявление — "Выражаем соболезнование сотруднику ялтинского КГБ Льву Николаевичу Толстому в связи со смертью его жены Софьи Андреевны".

Ю. собственноручно вырезал это объявление и некоторое время веселил им на "кухоньке" друзей. Совпадения в этой жизни не так уж редки, однако во всяких совпадениях всегда второстепенные детали все-таки разнятся. Так ялтинский Лев Николаевич Толстой отличался от яснополянского Льва Николаевича тем, что не Софья Андреевна его похоронила, а наоборот, он Софью Андреевну. Второстепенными деталями от-

личался и дюссельдорфский Кашлев от московского Кашлева. В отличие от подобного же задержания в московской гостинице, когда на лице Кашлева была суровая месть пролетариата буржуазно-мещанским радостям, недоступным ему, теперь Кашлев улыбался улыбкой Молотова на Потсдамской конференции. Одет теперь Кашлев был в недорогой, но приличный костюм серого цвета. Светло-голубая рубашка повязана зеленым галстуком. Из верхнего карманчика пиджака торчит кончик зеленой, под цвет галстука, расчески. Кашлев лишь первые мгновения железной хваткой держал Ю. об руку, затем отпустил и железной хваткой пожал руку.

— Не ожидали? Я слышу, дойчи с недойчами разговаривают, думаю, посмотрю соотечественника.

Кашлев уже несколько месяцев не звонил и не появлялся на "кухоньке", куда любил наведаться, выпить и закусить. Но это еще, черт с ним. Главное, чего боялся Ю., это, чтоб кто-либо из приятелей не застал Кашлева. Поэтому Ю. придумывал разные причины, просил всех предварительно звонить.

— Вы здесь, как я понимаю, первые дни, — сказал Кашлев, а я уж три месяца. Работаю в "Союзвнештрансе". Я ведь в юности ПТУ кончал, работал слесарем на Красноярском машиностроительном заводе имени Ленина.

Они втроем вышли из гостиницы. Был уютный теплый немецкий вечер. Пахло липами. Повсюду в ресторанах и кафе, за столиками, прямо под открытым небом в свободных, спокойных позах сидели люди, говорили меж собой, смеялись, ели и пили. У ярко освещенных витрин стояли проститутки с голыми загорелыми ляжками или в туго обтягивающих ляжки блестящих брюках.

— Извините, и курвы здесь не то, что у нас, — сказал Кашлев.

О семейной жизни Кашлева Ю. ничего не знал, не знал, женат ли он. Но по какому-то особому блеску глаз Ю. догадывался, что Кашлев испытывает сексуальный голод. Однажды Кашлев заговорил с Ю. о какой-то актрисе "из балетного театра". Спросил, знает ли ее. И в разговоре этом чувствовалась завистливая обида на недоступную женщину. "Пока они там в

балете подышающего лебедя танцуют, ты тут вертись, хоть сам подыхай". Сейчас, идя по уютной, демократически обжитой людьми улице, среди сладкого запаха лип, Кашлев, видно, тоже, хоть и по-своему, вдыхал воздух свободы, свободы от поводка, когда хочется просто побегать без цели или упасть на спину, задирая лапы, кувыркаться, распрямляя затекшие от служебного порядка мышцы.

— А немочка ничего, — шепнул Кашлев Ю., прижав свои губы вплотную к уху. От него пахло по-прежнему хамски, но уж на немецкий манер: пивом и чем-то свиным и капустным, — немочка ничего. Лицо у нее желто-медовое и тает, как пончик.

"Быстро же они здесь разлагаются, — подумал Ю., — гораздо быстрее, чем мы, интеллигенты. У нас, интеллигентов, чувство родины сильнее развито. Культуру в чемодан не упакуешь, а они едут с рюкзачком, сало с картошкой меняют на сосиски с капустой".

— Нравится вам у нас? — спросила Кашлева Барбара, которая, кажется, с запозданием, но начала постигать происходящее.

Кашлев подмигнул Ю., улыбнулся, раздвинул руки и запел: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек".

"Возможно, провоцирует, — подумал Ю., — но ведь провокаторы как раз часто и бывают перебежчиками".

Они свернули в тихий, малолюдный переулок и уселись за столик в маленьком ресторанчике.

— Русской водки здесь нет, — сказала Барбара, листая шпайзкарте, — выпьете нашей, немецкой водки? Господин Кашлев, выпьете допелькорн?

— Выпьем, — сказал Кашлев, — как говорится, на безрыбье и рак свистнет, — он засмеялся.

Барбара подошла к бару, начала о чем-то тихо говорить по-немецки с хозяином. — Ю. потянулся к своему кошельку, где лежали жидкой стопкой выданные марки, но Кашлев положил руку на его кошелек.

— Что ты в своих марках копаешься, — как заботливая

строгая нянька сказал Кашлев, — знаю я, какие ломаные гроши нашему брату за границу дают. Пусть немка платит, у нее валюты много.

— Что будем кушать?, — спросила Барбара, возвращаясь и садясь за столик, — вот бифштекс по-гамбургски или коруонблянц?

— Коруонблянц? — это что? — спросил Кашлев.

— Это фаршированная телятина.

— Годится, — сказал весело Кашлев и подмигнул Ю.

Хозяин принес на подносе два допелькорна и белое мозельское вино для Барбары. Поставил три салата.

— Фройндшафт, — сказал Кашлев, чокнулся с Ю. и Барбарой и начал копаться в салате, — хлеба бы дали побольше, да не такого черствого. Еда и выпивка у них хорошая, а хлеб в ресторанах подают плохой, черствый.

Хозяин принес фаршированную телятину, большие, остропахнущие горячим жиром и приправой куски с картофелем во фритюре и горошком.

— Это уж не знаю, как подступиться, — сказал Кашлев, — с какой стороны атаковать.

— Вы разрежьте, — сказала Барбара, — телятина, фаршированная свиной и голландским сыром.

Принесли еще допелькорна, Кашлев выпил свой стакан залпом, потом наклонился к Ю. и громким шепотом попросил узнать, где туалет.

— Мимо бара налево, — ответила Барбара.

— Данке, — сказал Кашлев и пошел, спотыкаясь левой ногой о правую, — я сейчас вернусь, — сказал он Ю.

— Пойдем, — шепнула Барбара Ю. и взяла его за руку.

Они встали, и Барбара на ходу сунула деньги хозяину.

От теплой тьмы, от близости красивой женщины, пахнущей свободой, от выпитого, от того, что избавился от преследующего по пятам отечественного крепостного хамства, Ю. не ощущал тяжести своего тела и казалось, что тело его рабски осталось сидеть, ожидая возвращения Кашлева из туалета, а убежала только невесомая облачная душа. Еще шаг, еще шаг и головой пробить тряпку, пропитанную банным мылом и

скипидаром. Но как же бежать с одной лишь облачной душой без тела своего. Без большой московской квартиры, без Покровителя, без будущей шиллеровской премьеры. Ю. остановился.

— Барбара, — сказал Ю., — помнишь, у Гельдерлина — ночь выплачивает свои сокровища... Und ihre schätze die Nacht zalft. Лунный свет выплачивает, как кассир, золото... Ты, Барбара, мое сокровище, которое выплатила мне немецкая ночь...

— Я тебя люблю, — сказала Барбара, длинные ее ресницы затрепетали и от трепета этих ресниц повеяло прохладным свежим воздухом задержного пространства.

Еще полшага... Но уже бежал сзади, цепляясь за деревья, Кашлев, уже дышал в затылок. Уже тяжелое, рабское тело прочно проглотило облачную душу. Еще все было рядом, но все уже было позади. "Я тебя люблю." Что значит эта фраза из немецко-русского разговорника для Барбары? Может, это значит: я хорошо провела с тобой время. Спасибо. Или: я знаю, тебя теперь ждут тяжелые времена, я тебе сочувствую. Нет, не этой скучной фразой хотелось бы мне проститься с Барбарой

— От имени КГБ я разрешаю вам ее поцеловать, — сказал вдруг Кашлев слова, надолго запомнившиеся, неприятно удивившие и особенно напугавшие, потому что либерализм в палаче пугает еще больше, чем жестокость.

Барбара быстро шагнула к Ю., поцеловала его в щеку и исчезла, растворилась в теплой тьме. В последний раз ощутил Ю. нежно-сладкий запах свободы...

Спустя два дня Ю. уже спал в своей большой московской квартире. Он вылетел в Москву, прежде чем кончились гастроли, сказавшись больным. Кашлев проводил его до аэродрома.

2

После случившегося в Дюссельдорфе Ю. ожидал "ликвидации последствий". Но никаких последствий не было. Наоборот, в кабинете у Покровителя состоялся обнадеживающий разговор по поводу драмы Шиллера "Димитрий". Большое

значение в этих надеждах сыграл успех шиллеровского спектакля Ю. на гастролях в Германии. Вдохновленный и успокоенный, вышел от Покровителя Ю. Секретарша Покровителя Анна Тимофеевна как бы эхом повторила комплименты Покровителя об успехе спектакля в Германии и попутно дополнила интимным шепотом, что бумаги, посланные в министерство для присвоения почетного звания, почти утверждены, остались небольшие формальности. Появилась вторая секретарша Люся с мороженым, которое она ходила покупать для Покровителя. Проходя в кабинет Покровителя, она улыбнулась Ю. и попросила его задержаться. Вскоре вернувшись, Люся сообщила, что звонили из Дома дружеских связей с зарубежными странами. Его, Ю., выдвигают в Общество советско-арабской дружбы. Точнее об этом можно справиться у доцента Попова из театрального института. "Вот оно пришло, но с неожиданной стороны, — подумал Ю., — вот она, плата". Ю. знал, что из себя представляет Дом дружбы с зарубежными странами и тем более Общество советско-арабской дружбы. Знал он, и кто такой доцент Попов, нынешний секретарь парт-организации театрального института.

Попов, лохматый, с проседью, сутулый мужчина тяжелого веса, похоже астматик, судя по цвету лица, был человек влиятельный, со связями в ЦК и Министерстве культуры. В июне, перед самыми гастролями, Ю. присутствовал в театральном институте на вечере солидарности с жертвами израильской агрессии. Не прийти — значило проявить солидарность с Израилем. В своей вступительной речи Попов говорил чуть-чуть жестче, чем писалось на ту же тему в газетах. Вместо "израильский агрессор" он употребил выражение "израильский враг". Более того, Попов даже публично покритиковал некоторых журналистов-международников, которые постоянно в газетах употребляют выражение "арабо-израильский конфликт".

— Конфликт, — сказал Попов, — это равная ответственность сторон, меж тем как налицо преступная политическая уголовщина израильского врага по отношению к честному, трудолюбивому арабскому народу.

Потом на сцену выпорхнула блядюшечка в русском сарафане и кокошнике на пшеничных волосах.

— Выступает сводный хор левого и правого берегов реки Иордан, — объявила она сормовским звонким гудочком, — "Ревет та стогнет Днепр широкий". Песня исполняется на арабском языке.

И гортанно заревел, застонал по-арабски Днепр, побратим арабского Иордана. В свободном хоре обоих берегов реки Иордан выступали не только студенты-арабы из разных арабских стран, но так же и осетины, азербайджанцы, туркмены. Таков был идейный замысел Попова, который, как Ю. слышал, работая в "Совэкспортфильме", участвовал в пятьдесят пятом году в дубляже на арабский язык пропагандистского фильма Геббельса "Еврей Зюсс". Фильм потом был послан в арабские страны. Вот кто таков был доцент Попов.

После арабского хора выступил жидковолосый русак, который читал свои стихи, жестикулируя кулаком, и оглушенный собственным криком: "Что ты врешь на иврите про Россию мою..." Поэт раскатисто напевно рычал. В-р-р-р — в умело сопоставленных, близких по звучанию "врешь и иврит". И далее — п-р-р-р... Р-р-р... Влажный чуб вкосу через лоб падал на бешеный бычий глаз. Вдохновленный продолжительными аплодисментами поэт сменил сторожевое рычание радостным визгом у сапога хозяина.

— "В семье единой", — объявил он звонко, — ГБ Украины, ГБ Белоруссии, ГБ Казахстана, эстонцев ГБ. О первом из равных слагаем былины — о русском советском родном КГБ...

Вот в какой семье предстояло находиться отныне Ю. в качестве троюродного приемыша доцента Попова...

Как-то Ю. видел Попова в театре, куда тот зашел, очевидно, по делам общественным.

— Иван Макарович, — сказала Попову, сладко улыбаясь, Анна Тимофеевна, — вам Насер звонил...

"Какой Насер? — в недоумении подумал Ю., — Гамаль Абдель звонил Попову сюда в театр? Непостижимо. К тому же, слава Богу, Насер уже мертв".

— Да, — подтвердила Люся, — вам Насер Иванович звонил, искал вас.

Оказывается, Насером Попов назвал своего сына, и этот

сын-подросток звонил в театр, зачем-то разыскивал отца. Многое знал Ю. о Попове. Многое, но не все. Не знал Ю., что у Попова помимо общих были еще и личные причины ненавидеть евреев.

Происходил Попов из очень набожной православной семьи тамбовских мещан. Отец его Макар Попов был церковным старостой, сам же Иван обладал хорошим звонким голосом и в детстве пел в церковном хоре. Потом, в начале двадцатых, церковь закрыли, имущество конфисковали. Мать, и прежде не слишком здоровая, кликушествовала по церквям, просила подаяние. Но сам Попов, к тому времени молодой крепкий парень, каким-то образом репрессий избежал, пошел работать на завод в дизель-моторный цех. Работал хорошо, стал ударником труда, комсомольским активистом и даже участвовал в антирелигиозной пропаганде, в закрытии церкви и снятии крестов с могил. Увлекался и комсомольским искусством, пел в хоре, рисовал карикатуры. Однажды в городской газете была помещена его карикатура: четыре брюхатых монашки лежат на кроватях в роддоме и над каждой кроватью надпись: от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Прошлое Попова, казалось, прощено и забыто. И вдруг Соломону Шнайдеру из комсомольского ансамбля "Легкая кавалерия" зачем-то понадобилось копаться в этом прошлом. На вечере активистов Шнайдер выступил с разоблачительными стихами.

Давно ль Попов с попом в обнимку
Справлял то свадьбу, то поминку.
Теперь Попов попа за шкирку
И в лацкане проделал дырку,
Для комсомольского значка... Ха-ха.

И не имело значения, что следующий свой куплет Шнайдер прочел, обращаясь к набожному еврею:

Пейсы сбрей, сними ермолку
Возьми в жены комсомолку.

Выпад Шнайдера в свой адрес Попов воспринял как доказательство травли евреями русских. После выступления Шнайде-

ра у Попова возникли некоторые трудности, но не надолго. Тогда уже начиналась сталинская, антитроцкистская кампания, в которой исподволь проступали антисемитские мотивы. Попов воспринял эти мотивы с истинно церковной страстью. И действительно в его юдофобстве чувствовалась какая-то религиозная бескомпромиссность. Когда же внутренние многоликие юдофобские способности совпали с внешними имперскими потребностями на Ближнем Востоке, положение Попова стало особенно прочным.

Вот что надвигалось на Ю., на его жизнь, на его блага, на его удачу, потому что все, чего добился до сих пор Ю., было связано с его способностью балансировать. Теперь же от него требовали сделать бескомпромиссный шаг. И как всегда в тупиковой ситуации, Ю. бросился к Покровителю.

Покровитель молча слушал путаные, неубедительные объяснения Ю., из которых сам Ю., слушая себя, мог бы заключить, что это говорит слабый, беспорядочный и неправдивый человек. Пока Ю. таким образом объяснял, почему он не может войти в Общество советско-арабской дружбы, Покровитель пил чай с лимоном, который подала ему Люся. По своему актерскому амплуа он был резонер, хоть начинал свою карьеру как герой-любовник. У него были светло-серебряные волосы поседевшего блондина и в лице нечто львиное, царственное, что-то от бронзовых львов, однако глаза контрастировали с лицом, выцветшие глаза были бойкие, подвижные, взгляд осмысленный.

— Но ведь это интернационализм, — сказал Покровитель, когда Ю. кончил наконец говорить. Покровитель сразу усек суть проблемы, — вам это поможет, — добавил он, — это очень почетно.

И Ю. вдруг подумалось, что, если не сам Покровитель выдвинул его кандидатуру в советско-арабское общество, то, по крайней мере, он в этом деле принимал участие. Покровитель был уже стар и болен. Поднося стакан чая с лимоном к губам, он морщился, очевидно, побаливал позвоночник. "Этот старый русский интеллигент, старый русский актер все понимает, — подумал Ю., — но он живет согласно обстоятельствам и

хочет помочь мне так же жить по обстоятельствам. Потому мое нынешнее поведение ему особенно неприятно... Что сказать, " — думал Ю., мучительно перебирая аргументы и ничего не находя".

— О людях судят по их поступкам, — сказал Ю., — поэтому лучше отказаться, чем совершить поступок, к которому не готов. Политическая обстановка в арабском мире сложная, об этом пишут наши газеты. Коммунистические партии во многих арабских странах запрещены. Слышал я так же неофициально, что присвоение Насеру Героя Советского Союза было волюнтаризмом.

— Вы должны изложить свои аргументы тем людям, которые вам предложили войти в общество, — сказал Покровитель. Он сделал еще несколько глотков, морщась допил чай и добавил, укоризненно покачивая головой, — не очень, не очень...

От Покровителя Ю. вышел еще более встревоженным. Лег он необычно для себя рано, в полночь, но не спалось. В два часа ночи позвонил Авдей Самсонов, Авдюша, лет десять назад популярнейший писатель молодого атакующего поколения. Ныне, к семьдесят третьему году, популярность эта увяла, но люди, подобные Авдюше, были по-прежнему известны, с прочными связями, с крупными покровителями и, в отличие от Гершингорна, которого не приняла вахтерша, принимались в достаточно высоких инстанциях. Авдюша только вчера вернулся из Приэльбрусья и теперь хотел зайти к Ю. поговорить о замысле новой пьесы. Ю., сославшись на болезнь, предложил перенести встречу дня на два.

— А что с тобой?

— Разваливаюсь по частям, — сказал Ю., — сердце, печень, желудок... И вообще трудно живется.

— Могу занять тысячу, — сказал Авдюша.

— Нет, у меня не материальные, а психологические трудности.

— Извини, психологию занять не могу. Тем более, что я теперь увлечен сатирическим символизмом, а не психологией. Есть интересный замысел о современном советском Дон-Жуа-

не — Иване Донцове, но именно в духе сатирического символизма...

Поговорили до трех. В три Ю. принял освежающий душ и улегся на диване, а не на широкой постели, где он еще не так давно спал со своей третьей женой. На диване лежать было прохладней, чем на мягкой, широкой постели. Сколько на этой широкой постели третьей женой было пролито слез, сколько криков, сколько проклятий. С тех пор он полюбил диван. Но сегодня и на диване что-то давило в поясницу. Нашарил рукой — таблетки от головной боли. Серdito бросил их на полочку, прибитую над диваном, и тотчас же получил с полочки ответ цветочной вазочкой по голове, которую сбил слишком размашистым неловким движением. Выругался, бросил вазочку в сторону, разбил. Пошел на кухню, взял веник, подобрал осколки. Заснул под утро. Утром ел без аппетита, слюна во рту была какая-то пенная. Съел немного, а было такое чувство, будто объелся, давило под ребро. Отрыгнул два раза, но пустым воздухом, без запаха съеденной пищи.

Звонить в Дом дружбы с зарубежными странами решил из автомата. День был жаркий, уже с утра шел потей. Дошел до Арбатской площади, сел в маленьком скверике, рядом с памятником печальному Гоголю, с полчаса погрузился вместе. Вспомнилось гоголевское: о Мольер, великий Мольер! Ты, который так обширно и в такой полноте развивал свои характеры... И ты, благородный, пламенный Шиллер, в таком поэтическом свете высказывавший достоинство человека...

Мимо скверика шла знаменитая арбатская сумасшедшая. Ю. не любил сумасшедших и опасался их. Только внутренне уверенные в себе люди радуются, увидев сумасшедшего. Сумасшедшая была седая, лет так шестидесяти. На голове ее белая кепка от солнца, на шее стеклянные бусы, на груди комсомольский значок.

— Сталин умер в пятьдесят третьем году, — весело кричала сумасшедшая, — ну и что? А теперь сперва... — она грязно выругалась, — сперва... А потом женятся.

За сумасшедшей бежали дети, смеялись, показывали на нее пальцами. Прохожие вокруг улыбались. Ю. ушел из скверика.

За сквериком в тупичке был телефон-автомат, о котором мало кто знал, и он чаще других пустовал. Сейчас телефонная будка так же была пуста. Ю. вошел в будку, вынул бумажку, на которой был написан номер, набрал, назвал себя. Ответил любезный голос.

— Мы знаем. Иван Макарович передал нам список новых членов общества.

— Простите, с кем я говорю?

— Моя фамилия Щербань, — ответил любезный голос.

— Товарищ Щербань, я много думал по поводу этого предложения и я глубоко благодарен людям, оказавшим мне доверие. Но учитывая сложность политической ситуации на Ближнем Востоке и мою политическую неопытность,...

— Да или нет, — перебил голос, который, судя по тембру, несомненно принадлежал Щербаню, но вдруг совершенно преобразился, утратил мягкость, любезность и стал жестким, уличным, еще чуть-чуть пожестче, поуличней, и этим голосом уже можно будет кричать то, что они обычно кричат.

— Да или нет?

— Нет.

Ту-ту-ту-ту...

Ю. повесил издающую частые гудки трубку и вышел из телефонной будки. "Вот и все, — с облегчением подумал он, — механические звуки". Ю. с трепетом ожидал членораздельных обличений, но ему ответили невинными механическими гудками, потому, что он впервые публично сказал — нет. И опять Ю. начал ждать "ликвидации последствий". Прошел день, прошло три дня, прошла неделя, последствий не было. Вдруг среди почты — открытка. Светло-голубое небо над разноцветными в два-три этажа игрушечными домиками, желтые и красные тенты над витринами в нижних этажах этих домов, заботливо выращенная зелень южных деревьев, аккуратно округлых или аккуратно продолговатых, теплая рябь темно-голубой воды, подступающей к каменной набережной песочного цвета, и вместе с шеренгой белых, явно ручных лебедей у набережной на ряби этой плещется составленное из по-лебединому белых латинских букв название маленького немецкого

городка на швейцарской границе, где отдыхает Барбара. "Да, в свободе есть что-то игрушечное, может, поэтому она бывает так уязвима и так непрочна, в то время как в нашей жизни все всерьез". По-русски Барбара говорила, хоть путала слова и понятия, но писать, очевидно, не умела. Открытка была заполнена немецкими округлыми буквами, и Ю. представил себе, как Барбара писала, сидя у окна какого-либо из этих игрушечных домиков, глядя на лебедей и на теплую темно-голубую рябь. "Ночь, ледяная рябь канала, — вспомнил Ю. блоковское, — у нас повсюду ледяная рябь, даже в Крыму... Холодная, старческая кровь..."

Дать прочесть эту открытку кому-либо, знающему немецкий язык, Ю. не захотел, достаточно уже, что по этим волнующим буквам шарил глаз почтового цензора. Ю. взял русско-немецкий словарь и с трудом, кое-что читая, кое о чем догадываясь, узнал, что Барбара помнит его, надеется на новую встречу и грустит, что сейчас он не рядом с ней на этом озере. Озеро называлось Бодензее, то есть Нижнее озеро. "Все-таки время не пропало даром, — думал Ю., — даже в тепловатые хрущевские времена такую открытку могли бы не пропустить и получатель мог бы иметь неприятности. Теперь же время застойное, то есть центровое. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Дюссельдорф не имел последствий, и, кажется, не имеет последствий мой отказ участвовать в советско-арабской дружбе. Никаких последствий, кроме личной утомленности, дурного сна и частого покалывания сердца. Надо бы в отпуск, и если нельзя на Бодензее, то хотя бы в Крым".

В этом году Ю. отпускное время пропустил из-за разнообразных хлопот. Многие приятели или в отпуску, или уже вернулись. "Придется ехать одному. Что ж, в этом есть свое преимущество, полная отрешенность где-нибудь подальше в крымской глуши". И Ю. начал хлопоты. Вскоре, через профком театра он уже имел путевку в небольшой крымский Дом отдыха. Путевка была с двадцатого сентября. Теперь надо было еще достать хороший билет, чтоб ехать прилично. Но это Ю. предпочел сделать не через профком, а частным образом. Он сначала созвонился, а потом заехал на работу к Вадиму Овру-

чскому, своему приятелю, хореографу известного московского ансамбля. У Овручского каким-то образом были хорошие связи с железной дорогой.

В репетиционном зале пахло смесью парфюмерии и пота. Русокудрый, похожий на Есенина, танцор, в черной потной майке и черном, туго обтягивающем мускулистые ноги трико стучал каблуками. Черноглазый, с типично семитским обликом Овручский хлопал в ладоши и выкрикивал.

— Опа-опа-опа-опа-опа-опа... Молодцом!

Гоп-опа-опа-опа-опа-опа... Молодцом!

Увидав Ю., Овручский сунул ему потную ладонь труженика и автоматической скороговоркой спросил:

— Как дела?

— Двигутся, — дипломатично ответил Ю.

— У одного дела движутся со скоростью света, а у другого со скоростью того света, — пошутил Овручский, — подожди минут пять, — он подбежал к другой паре танцоров, — скомо-роший перепляс, — выкрикнул весело Овручский, — Егорка и Митяшка... Егорка в костюме барина плетет кренделя, — и Овручский умело пошел вприсядку, выкрикивая, — Эх, есть! Эх, есть! Эх, есть... Митяйка подыгрывает на балалаечке и подпевает, — Овручский руками изобразил балалаечку и запел: Так танцует ваша честь! Так танцует ваша честь!

Наконец Овручский вернулся к Ю., тяжело дыша и утирая потное лицо полотенцем.

— Ты едешь двадцатого? — спросил он.

— Нет, девятнадцатого, — ответил Ю., — с двадцатого у меня путевка.

— Ну неважно. Четырнадцатого сентября позвонишь по телефону, — он вынул из портфеля блокнот, — записывай, 221-65-48. Записал? Попросишь 0052. Андраш Михаил Яковлевич. Он тебе заказал на 169-й поезд. Выходит в 12.50 дня, на месте в 11.00 утра. Десятый вагон, двадцать пятое, двадцать шестое места. Все понятно?

— Все понятно. Спасибо, Вадим. Но мне нужно одно место.

— Как, ты едешь без молодой жены?

— Я развелся.

— Ну, извини, за тобой не уследишь, — и тут же обернувшись закричал танцору, — Коля, — специфику! Дай специфику! Коленца, коленца... Настя, — улыбочку, держи улыбочку... Играй ногами, — и сам Овручский, надев на лицо улыбочку, пошел на играющих ногах, — А я по лугу, а я по лугу, да я по лугу гуляла, да я по лугу... раз, два, три...

Незадолго до отъезда в Крым к Ю. зашел Авдей Самсонов, Авдюша. Принес наброски пьесы "Иван Донцов" о современном советском Дон-Жуане. Сидели на "кухоньке", ели заказанные в ресторане на дом блины с красной икрой, пили водку и шампанское, Авдюша с веселым вдохновением говорил о себе. Называл известные театральные имена.

— Такому-то показывал черновой вариант, — завелся; такому-то — загорелся; такому-то — выпросил экземпляр, начал самостоятельно репетировать...

— Гениально, — перелистывая черновик, говорил Ю., — есть легенда о Дон-Жуане Байрона, Мольера, Пушкина... Блок писал, Алексей Толстой писал... Авдей Самсонов — почему бы нет? Скромность в творчестве — не моцартовское чувство. А сколько лет, Авдюша, твоему Ивану?

— Разве это важно? — вдруг насторожился Авдюша.

— Важно... У Пушкина Дон-Жуан молодой, у Мольера — старый.

— Мой Иван средних лет, наших лет, вокруг сорока.

— Гениально, — повторял Ю., — не представляю, правда, как у нас в театре отнесутся. Знаешь специфику нашего театра... Традиции, русофильство.

— А это пьеса очень русская, — парировал Авдюша.

Ю. листал рукопись, вычитывал куски.

— Замечательно, — засмеялся Ю., — вот: "Иван (гневно). Говно!" Гениально, как хрюканье. Я вообще считаю, что некоторые ремарки надо сохранять на сцене... Недавно читали мы здесь пьесу Гершингорна... Знаешь его?

— Знаю, — ответил Авдюша, — талантливый парень. Такой местечковый Шагал с чесночком. Его Олежек очень метко обозвал, — Першингорл, — Авдюша засмеялся.

— Какой Олежек?

— Из Сатиры. У меня там мюзикли начинают репетировать. Называется "Трое на одной тахте". Конечно, название поменяли. Писал тоже в стиле сатирического символизма. Роли выписывал специально на актеров. В роли Заходящего солнца Аглая Преображенская, по кличке Преображенская.

Посмеялись. "Першингорл, — думал Ю., — как это распространилось в театральной среде? Наверно, я где-то пьяный проболтался. Ах, свинья".

— Дон-Жуан, вообще, тема символическая, — сказал Ю., — особенно финал, появление фигуры Командора.

— В финале у меня как раз символики не будет. Скорей бытовая фантастика. Когда Иван завлек молодую девственницу в постель, предвкушая удовольствие, юная девственница вдруг крикнула ангельским голосом: крехс, фекс, пекс, хлопнула в свои маленькие розовые ладошки и превратилась в огромного волосатого мужика. Такой киплингский образ. В нем должно быть нечто звериное, искреннее, лесное. Он приходит восстановить справедливость, приходит в постель к Ивану.

— Этот поворот опасен, — осторожно сказал Ю., — могут приписать не только сексуху, педерастию, но еще черт знает что политическое.

Авдюша затихает, сидит, молчит. Постепенно он мрачнеет.

— Ужасное время, — говорит Авдюша, — всюду застой, скука, холодное безразличие, нынешняя молодежь лишена даже любопытства. Выступаешь где-нибудь, вопросов не задают, кажетя, нет на свете ничего такого, что могло бы их расшевелить. И над всем царит тупая обывательская надменность... Тяжело...

Вышли на балкон. Балкон делал свой очередной виток над ночной Москвой.

— В Москве новый роман пошел по рукам, — сказал Авдюша, — называется "Обглоданная кость" с подзаголовком "Собачья жизнь одного человека". Первая часть — "В конуре", вторая часть — "На случке". Я считаю автора яркой, восходящей звездой первой величины в новой русской прозе... Не читал?

— Еще не читал, но название гениально — "Обглоданная кость".

Стояли, вцепившись в поручни, смотрели в московскую тьму.

— У меня в Госкино сценарий зарезали, — сказал Авдюша, — там теперь в главке новое начальство. Василий Блинок из Белоруссии.

— Какой Блинок?

— Автор популярной солдатской песни "Портяночки" и романа "Беседы у пулемета". Активист Воениздата.

— Хорошее шампанское, — сказал Ю.

— Да, кружит голову, — ответил Авдюша и наклонился через балконные поручни, — хорошо бы упасть, — вдруг повторил Авдюша мысль, которая иногда приходила и самому Ю. здесь ночью на балконе, — хорошо бы упасть, но по-горьковски, не убиться, а рассмеяться...

Рассмеялись, потом помолчали.

— Иногда кажется, — сказал Авдюша, что шестидесятые годы были не десять лет назад, а по крайней мере сто лет прошло с тех пор. Эпоха минула... Как нас тогда ругали. Боже мой, как нас тогда ругали в Кремле. Какое время было счастливое.

3

Ехал Ю. в Крым в мягком вагоне образца 52-го года, дату он прочел на табличке, привинченной в купе. В вагоне все скрипело, дребезжало, стучало, занавески на окнах были тяжелые и пыльные. Соседи по купе — обычные осколки чужой жизни: женщины, пожилые, молодые, капризные от дорожной неустроенности дети, запах крутых яиц и чесночных котлет, проводник с жидко заваренным чаем в лихо заломленной по-кавалерийски набекрень железнодорожной форменной фуражке. Едешь один, вокруг ни одного лица, с которым можно нормальным словом обмолвиться, не знаешь, куда себя деть, как сесть. Облокотившись о столик локтями, смотришь в окно — надоедают телеграфные столбы, откинешься, упруешься спиной — внутренняя обстановка в купе надоедает еще боль-

ше. А тут еще ноги в носках, с верхней полки свесившись, спрашивают, какая станция и сколько стоим. Отвечать не хочется, делаешь вид, что дремлешь. Но главные мучения предстояли ночью. В вагоне холодно, диван твердый, хоть и оплачен как мягкий, и под головой твердый валик. Выбросил валик на пол — стало чуть полегче, задремал, хоть и не надолго. В шесть утра встал с зудящей головой, с щемящими от бессонной ночи глазами, с першащим горлом. Вспомнилось: Першингорл. Улыбнулся. Ночь позади, север позади, скоро Крым.

Но что такое Крым? Это жаркое сентябрьское солнце, пыль, душное такси, пахнувшая чернилами контора профсоюзного Дома отдыха, скрипучая, продавленная множеством тел койка, застланная свежим казенным бельем. И так продолжается неуют до тех пор, пока, следуя указателю "На пляж", по тропке через парк, через запахи южных цветов не приходишь к морю.

Ю., по-возможности, решил общаться только с морем, однако прошло несколько дней, и он уже был знаком с некоторыми отдыхающими, уже разговаривал с ними Бог знает о чем. В обеденном зале Ю. сидел с директором конторы "Туркментекстильторг" Чары Тагановичем. Чары Таганович жаловался.

— Кырым — золотой сосуд, наполненный гывном... Где прухты и овочи? Где? Завтрак — каша, обед — лапша. Дыля шахтеров питание.

Столики в столовой стояли в два ряда, посередине был усталанный дорожкой проход. Параллельно со столиком Ю., через дорожку у окна под фикусом сидело трое шахтеров из Караганды. Держались они всегда тройкой, приходили тройкой, уходили тройкой, на пляж шли тройкой. И шли всегда в определенном порядке. В центре высокий, жирный, главный, очевидно, среди них авторитет, лицо имел постоянно серьезное; второй, невысокого роста, наоборот, часто улыбался, и лицо у него было, точно без кожи, красное, мясное, может, обмороженное; третий был какой-то безликий, Ю. его не помнил, наверное, оттого, что он сидел постоянно спиной к Ю., спиной, тогда как краснолицый сидел в анфас, а жирный — в профиль.

И разговаривал жирный чаще с краснолицым, чем с безликим, губы серьезно шевелились, точно жирный краснолицего выговаривал или что-то ему объяснял. Ю. никогда к карагандистам не приближался, никогда не слышал, что они говорят, а если карагандисты встречались с Ю. в парке на аллее, то проходили мимо, не глядя и не здороваясь. И Ю. сразу понял — эти зоологически бескомпромиссны. Особенно жирный пролетарий, который явно имел на других влияние. Ю. тоже старался их сторониться, а однажды, когда случайно оказался недалеко, то вдруг испытал томящее ощущение в полости живота, какое случается во время качки при морской болезни или в слишком быстро спускающемся лифте. "По сравнению с этими неподкупными, Попов, не говоря уже о Кашлеве, выглядят умеренными", — подумал Ю. И он постарался более к карагандистам не приближаться даже случайно. Вторым полюсом, которого Ю. сторонился, был лысеющий человек, очень курносый и длиннолицый, в котором, однако, без труда можно было распознать еврея. Звали его Давид Файвылович, так Ю. услышал. Обедал Давид Файвылович за общим столиком с блондином-прибалтом, с которым громко разговаривал на каком-то из прибалтийских языков. Несколько раз Ю. чувствовал на себе взгляд Давида Файвыловича, который смотрел на Ю. издали своими темными глазами, наглыми и грустными. Давид Файвылович явно хотел заговорить с Ю., познакомиться с ним. "Нет, мошенник, тебе это не удастся, — думал Ю." почему-то сразу же мысленно обозвал Давида Файвыловича мошенником, даже не перекинувшись с ним ни единым словом и ничего о нем не зная. Между карагандистами и Давидом Файвыловичем Ю. выбрал середину, — Чары Тагановича, беседовал с ним на производственные темы.

— Делаем тыкани по плану. Девяносто процентов у нас Россия брать должна. Не берут. А наш среднеазиатский рынок мы давно насытили.

— Нужно делать модную ткань, — новаторствовал Ю.

— Модная ткань, — сердился Чары Таганович, — а кырасители? Где вынуть кырасители? Без кырасителей пылан сорву, оштрафуют за нарушение договора... Э, плохо..

К началу сентября погода испортилась, море заштормило,

на солнце было по-прежнему жарко, но тени холодные и вечера стали холодные. Отдыхающие одевались потеплей и ходили гулять по парку, а с наступлением сумерек сидели на скамейках на краю обрыва и до одурения смотрели на темнеющее беспокойное море. Дом отдыха располагался на горе, а чуть ниже, километрах в трех по крутому спуску, по дороге, вдоль которой грохотала по камням горная речка Кара-су — Черная вода, был типично крымский татарский городок Карасубазар, ныне переименованный в Яблочное. Говорили, что в прежние татарские времена окрестности городка утопали в прекрасных фруктовых садах, хоть теперь в это трудно было поверить. Повсюду рос только дикий кустарник. Когда погода испортилась и море заштормило, Ю. начал совершать прогулки вдоль Кара-су в Яблочное, чтоб скоротать время, в прежние времена, бывая в Крыму в иных местах, Ю. уже встречал несколько небольших речек Кара-су. Он вспомнил, что и на Кавказе встречал речку такого названия, и, наверно, где-нибудь в Турции или Туркмении тоже течет Кара-су. От однообразного шума воды и от однообразного названия стало скучно и тревожно. Вдруг вспомнилось, что сегодня за завтраком жирный карагандист, который обычно сидел к Ю. в профиль, повернулся в анфас, посмотрел в упор и то ли улыбнулся, то ли оскалился. Такую улыбку иногда можно видеть на мордах больших, тяжелых псов перед броском, перед укусом.

Когда, погуляв по городу, Ю. вернулся к обеду в Дом отдыха, первого, кого он увидел, был все тот же жирный шахтер из Караганды. Он стоял на набережной и держал в своих тяжелых кулаках трепещущую от морского ветра газету, точно газета пыталась вырваться, а он не пускал, как добычу свою, наклонив к ней голову, зубами рвал новости, крайне ему по вкусу пришедшиеся. Каменная шея, каменный загибок были напряжены, тоже участвуя в этом жадном поедании новостей. Подбежал краснолицый и крикнул:

— Сейчас передавать будут.

И оба заспешили к Дому отдыха. В коридорах было общее движение, хлопали двери, все спешили в комнату, где стоял телевизор.

"Война, — испуганно подумал Ю., — война с Америкой". Ю. ошибся, это была не Третья мировая, а очередная локальная война на Ближнем востоке, война октября 1973 года. Но патриотический подъем отдыхающих был так высок, точно речь действительно шла о мировой войне. Последние известия начались необычно: первым номером показали не внутренние правительственные сообщения, не сообщения с заводов и полей, а зарубежную новость. После надписи "Война на Ближнем Востоке" пошли кадры победоносного наступления египетских войск в Синае. Вместо наступления, правда, показывали ликующих египетских солдат, которые маршевым порядком ехали на советских грузовиках и, подняв руки вверх, потрясали советскими "Калашниковыми". Показывали израильских пленных, изнеможенных, обросших.

— Судить этих жидов надо, судить, — кричал краснолицый.

— Сыколько уже убили? — спрашивал Чары Таганович у жирного карагандиста.

Чувствовалось, что жирный карагандист становится общим лидером.

— По "Маяку" я слышал — три тысячи раненых и убитых, — ответил карагандист.

Это уже была не международная политика, не братская помощь, как во Вьетнаме. Это была их война. Третья отечественная война. Ю. вспомнилось, как в 1967 году на улице Горького были специально установлены громкоговорители и по этим громкоговорителям торжественно объявлялось, непрерывно повторялось о разрыве дипломатических отношений с Израилем, повторялись угрозы в адрес Израиля. Такого не было при разрыве отношений с Чили, с Пиночетом. Просто, как обычно, напечатали в газете, сообщили по радио и в телевизорах. Теперь же гремело на всем протяжении улицы Горького, от Белорусского вокзала до Охотного ряда. Потому, что разрыв с Пиночетом, с Чили — внешняя политика, а разрыв с Израилем — политика внутренняя. Чили для них враг внешний, а Израиль для них враг внутренний. Ненависть к этому внутреннему врагу — Израилю — была искренняя, вдохновенная, но одновременно напоминающая футбольный эн-

тузиазм, поскольку ненависть к немцам в прошлую войну не сла ответные опасности, тут же никаких опасностей не было. Злоба и праздник объединились в погромном удовольствии. Сразу между Ю. и этими людьми, с некоторыми из которых он еще недавно мило беседовал, установилась внутренняя напряженная борьба. Борьба велась вокруг телевизора и вокруг газетного киоска, расположенного в конце парка у большой клумбы. Спал Ю. дурно, недолго, замученный тревожными мыслями своими. И каждое раннее утро, около семи, он слышал шаги идущих к киоску карагандистов. Вначале Ю. тоже заглядывал в газеты, пытаясь прочесть между строк иное, чем то, что писалось, какой-нибудь намек в этом потоке дикой лжи и подкрашенной политическими терминами злобы. Иногда кое-что удавалось выудить. Так сообщалось, что после начала войны в Израиле установилась атмосфера военной истерии, формируются новые дивизии, начался массовый призыв в армию резервистов. Но в целом, ко лжи, глупости и злобе прибавилось злорадство: а мы предупреждали, что это плохо для Израиля кончится. Особенно встревожило требование советских газет о невмешательстве в конфликт ООН, поскольку дело идет о внутреннем национальном праве арабов освободить свои земли. Это должно решаться не в ООН, не на мирных конференциях, а на поле боя. Некоторые западные либералы в ООН просили перемирия, прекращения огня, а арабы и их друзья из соцлагеря и третьего мира прекращение огня отвергали. Начиная с 67 года, весь этот альянс требовал вмешательства ООН для освобождения арабских земель, и либералы их в этом поддерживали. Похоже, они действительно поверили в возможность уничтожить Израиль не поэтапно, через ООН, через конференции и переговоры с либералами, как они уничтожили южный, некоммунистический Вьетнам, а одним ударом, военными средствами, открытой атакой.

Всю ночь шел дождь, шторм по-орудийному бил о набережную, тошнота подступала к горлу, более всего тревожили томящие ощущения в полости живота, потому что в минуты сильной опасности, которая надвигалась на Ю. из победных сообщений газет, из телевизионных сообщений, не сердце, а жи-

вот становится главным объектом ненависти, так всегда бывает, когда дело идет о зоологии.

Утром Ю. решил не выходить к завтраку, чтоб не видеть победный энтузиазм отдыхающих, да и есть не хотелось. Он лежал и прислушивался к доносящимся извне звукам. И вдруг он услышал то, чего с тревогой ожидал и чего опасался: аплодисменты и крики "Ура!" В дверь постучали, это пришла уборщица. Ю. накинул халат, отпер. Надо сказать, что весь персонал, особенно низший, уборщицы и официантки, также участвовали в победном весельи и, как казалось Ю., к нему начали относиться с насмешливым пренебрежением. Уборщица была ширококостная пожилая баба, которая грубо переставляла стулья, брызгала намоченным в грязном ведре веником и как бы невзначай весело посматривала на Ю.

"Ура" кричали из-за распространившегося в Доме отдыха известия о полной победе арабов. Известие это принес Чары Таганович, который на рынке в Яблочном встретил земляка.

— Земляк домой звонил. Ашхабад уже знает, Дюшанбе знает, Ташкент знает, скоро Москва сообщит. Тель-Авив египетские войска захватили, а Иерусалим — сирийские войска. Евреи бегут к морю спасаться. Америка согласна их спасти, Англия и Франция не согласны.

— Не пускать, — сказал краснолицый карагандист, — пусть ответственность несут.

— Э, пусть уходят, — сказал Чары Таганович, — пусть едут в Америку, пусть освобождают мусульманские земли. Еврей тоже человек, пусть уезжают. Джугут тоже человек... Э. хорошо...

— Разве это люди, — сказал жирный карагандист, и чувствовалось, что каждое произнесенное им слово увесистое, накопленное, и за каждым словом стоит много слов, еще более зоологических, более обнаженных, — разве это люди? Мразь. Муху, таракана более жалко убить, чем таких... Недаром Гитлер их бил... Жалко всех не угробил.

Ю. ушел в шумный от дождя пустой парк, ходил по аллеям, сжав зубы, время от времени он, крепко стиснув, вытянув вперед кулак правой руки, произносил, теряя дыхание:

"Ненавижу", а потом тревожно оглядывался, не слышал ли кто-либо. Ю. знал, что и за рубежом и на Западе есть враги, есть хулиганы, есть антисемиты. Но там антисемит частное лицо, и потому возможна самозащита. И в старое время, в царской России при царе, поклоннике "Протоколов сионских мудрецов", антисемит все-таки оставался лицом частным, и потому возможна была самозащита. Теперь же, в социалистической России антисемит лицо общественное, и за спиной каждого уличного хулигана стоит государство всей своей громадой. Ю. все ходил и ходил по аллеям, повторяя: "Ненавижу". Ему было жарко, болел затылок, видно, поднялось давление. Вдруг подумалось — какое наслаждение было бы лежать там в песках и стрелять в набегающих, орущих... Если бы и эти, все вокруг, единой цепью...

Подкашивались ноги. Ю. уселся на мокрую скамью, растирая рукой сердце и живот, поглаживая затылок. Он долго сидел так. "Охамлена жизнь, — думал Ю., — но если охамлена, охулиганена вся современная жизнь, то как же не охаметь, не охулиганиться культуре..." Он снова встал и начал ходить по парку. "Надо уезжать, черт с ним, с Крымом, с отдыхом. Какой это Крым, какой это отдых? Надо в Москву. Но что Москва, — думал Ю., — не из Москвы ли надвигается все это, не в Москве ли придумывается в разных инстанциях, в том числе в Обществе советско-арабской дружбы, куда он отказался войти. Но теперь, если Израиль действительно погиб, этот камуфляж с интернационалом, с прогрессивными евреями им больше не понадобится".

Ю. посмотрел на часы и заспешил к Дому отдыха. Сейчас должны были передавать последние известия. Ю. покачивало, как на корабле в шторм, сердце его было барабаном, и кто-то, словно извне, бил по нему: бум-бум-бум.

Появился известный, приветливо улыбающийся телевизионный диктор, и аудитория встретила его радостным гулом. Потом, после надписи "Война на Ближнем Востоке" опять понеслись грузовики с египетскими солдатами, поднимающими вверх "Калашниковы". Повторяли старые, уже виденные кадры. Ю. вынул платок и вытер со лба испарину. "Нет, еще

не конец. Во что-то уперлись, где-то зацепились, раз повторяются”.

— Переговоры ведут с Америкой, куда евреев девать, — говорил Чары Таганович, — потому не сообщают. Может, вечером сообщат.

— В Москве салют должен быть по случаю взятия Тель-Авива, — сказал краснолицый, — я думаю, там наши ребята воюют... Наши хлопцы.

Победное веселье в Доме отдыха продолжалось. Вечером в кинозале выступал абхазский ансамбль гагрской филармонии. Длинноносый пожилой абхазец в черном костюме и белых штиблетах пел:

Предположим, я красивый, ай-яй-яй.

Предположим, я ревнивый, ай-яй-яй.

Предположим, я стою, предположим, я курю.

Жду жену и говорю: "Ай-яй-яй..."

И ансамбль из трех абхазцев и молодой женщины-абхазки, возможно, дочери солиста, очень на него похожей, подхватил:

Предположим, я карасивый, ай-яй-яй...

Когда песня кончилась, один из хористов спросил у белоштиблетника:

— У тебя шансы есть?

— Есть.

— Дай полкило.

Опять смех и аплодисменты. "Нет, уж лучше ходить по парку, — подумал Ю." Было ветрено, но дождь утих, и шторм как-будто бушевал потише. Неподалеку от входа в парк к Ю. подошел человек и сказал:

— Простите, вы тоже из оперы "Аида"?

Это был Давид Файвылович, которого Ю. в своей социальной спесивости совершенно сбросил со счета.

— Я вижу, вы переживаете, — продолжал Давид Файвылович, — я тоже переживаю, но у меня здесь приемник, я слушаю за границу. Слышимость плохая, но можно поймать, особенно вечером. Хотите послушать?

— Хочу, — обрадованно ответил Ю.

Они познакомились. Давид Файвылович сразу представился накоротко: Дава...

Дава жил не в главном корпусе Дома отдыха, а в одном из флигелей, неподалеку от спуска к морю.

— Когда хорошая погода, можно сразу в трусах на пляж спускаться, — сказал Дава.

Дава действительно загорел хорошо, лицо и тело шоколадного цвета, тогда как Ю. лишь покраснел. В Даве чувствовалась ловкость и цепкость умельца, ремесленника, он действительно был сапожником, точнее, работал в обувном цеху в Литве. Все, что ранее Ю. в Даве не нравилось, его маленький курносый носик, лошадиное лицо, даже темные глаза, которые не переставали смотреть с печальной наглостью, теперь нравилось Ю., и он внутренне упрекнул себя за то, что из-за своей спеси не сблизился с Давой ранее, и в одиночку противостоял этому скопищу зоологических недругов. "Эта наша книжная, наша саддукейская, наша раввинская спесь по отношению к своему простолюдину, которую осудил еще Иисус Христос, не она ли причина многих наших бедствий, нашей хилости, нашего отщепенства?"

— Вы тоже были на концерте? — спросил Дава, — ерунда какая-то. Вот к нам в Вильнюс приезжал одесский ансамбль Мо-ни Житомирского, выступал в ресторане. Это другое дело. Хотите послушать, я на кассету записал. Время до передачи у нас еще есть,

Он включил кассету, и сочный голос запел с еврейскими за-витушками:

Ой, папа, папа, я еврея, мама,

Родила, я сына от Аврама.

Бьет папаша чайные стаканы,

Стал папаша от известия пьяный.

Ой, азохен вей, ой, азохен вей,

Ой, азохен, ой, азохен, ой, азохен вей.

— Ой, азохен вей, азохен вей, — подпевал Дава, прищелкивая пальцами. И Ю. тоже вместе с Давой подпевал.

— Ой, азохен вей, азохен вей...

Никогда прежде Ю. не испытывал такого приступа национального чувства, которое было чем-то подобно чувству полового удовольствия. Включили приемник, начали шарить по эфиру, слышимость была плохая, треск, шум, наконец поймали Лондон. Лондон сообщил, что Сирия потеряла много танков и отступает, одна египетская армия окружена, другая прижата к Суэцкому каналу. Ю. обнял Даву и поцеловал его в пахнувший луком рот.

Утром в комнате, где стоял телевизор, как всегда, было тесно. Ждали новых счастливых известий с Ближнего Востока, с фронтов Третьей отечественной войны. Однако новостью №1 вдруг оказалась миролюбивая встреча Брежнева с немецким социал-демократом Брандтом.

С возрастом лицо Брежнева все более становилось похоже на мягкий блин, испеченный неряшливой хозяйкой. В одном месте пальцами примяла, в другом ложкой избородила. Не лицо — гоголевская печеная харя. У Брандта же лицо гофмановское, лепное, театральное.

В новелле Гофмана "Из жизни трех друзей" показаны миролюбивые настроения после битвы под Ватерлоо. Трое друзей попивают свой миротворный кофе на открытом воздухе в берлинской ресторации. Так же и советское телевидение показало новостью № 1 миролюбивые настроения после Синайской битвы. Двое друзей попивают свой миротворный коньячок на террасе роскошной приморской виллы, конфискованной у прежних русских царей и ныне принадлежащей "новым царям", как называют советских руководителей китайские гегемонисты. Но публика, собравшаяся смотреть теленовости, была настроена менее миролюбиво, чем Брежнев и Брандт. Она настроилась на кадры победного шествия египтян и сирийцев с "Калашниковыми", на кадры горящего Тель-Авива, в беспорядке лежащих на песке трупов израильских солдат, в страхе бегущих к морю толп еврейских женщин, стариков и детей, которых можно было бы созерцать со смехом и улюлюканьем... А вместо этого гоголевское лицо Брежнева и гофмановское лицо Брандта. Публика как бы единым ртом издала вздох разочарования. Тем более, что события на Ближ-

нем Востоке показали в самом конце передачи в скромной рубрике "За рубежом". Причем, вместо солдатского победного марша опять в ООН интеллигенция жестикулировала. Расходились хмурые, с кислыми лицам, как после несостоявшегося погрома. Крови, крови хотелось... И по странному совпадению в тот же день краснолицый карагандист шлепнулся с горы.

Это была обычная, рутинная смерть, заранее предусмотренная крымской статистикой. В таком-то году на горе было столько-то смертных случаев, в таком-то — столько... Кривая смертности то чуть вверх, то чуть вниз, но в целом — на постоянном и заранее предусмотренном уровне. Как ни предупреждали отдыхающих, — ни на один камень Черной горы надеяться нельзя, — отдыхающие ежегодно надеялись, участвуя в смертной статистике. Гора манила и притягивала. Была она вулканического происхождения, и высоко врезающаяся в небо вершина ее поросла лесом.

На следующий день, которого уже не увидел краснолицый карагандист, была переменная облачность, показывалось солнце. Дава раздобыл где-то напрокат лодку, и поехали осматривать гору с моря, тем более, что у подножия горы располагалось несколько красивых бухт. После непогоды и шторма море во многих местах было покрыто кустами морской травы, вырванной с корнем, которую приходилось отталкивать веслами. Иногда объезжали целые холмистые острова такой травы, плавающей на волнах. Но прогулку это не портило, наоборот, разнообразило. Солнце припекало, йодистые запахи плавающих травяных холмов, смешиваясь с запахами моря, прочищали легкие от воздуха, который, казалось, застоялся там за время прошедших волнений. Ю. греб обеими руками, держа рукоять своего весла и стараясь попасть в такт с гребущим Давой. Приплыли в овальную бухту, огражденную несколькими острыми, выступающими из плещущих волн скалами. Ю. зацепил веслом небольшой кустик, поднял из воды длинные побеги, длинные листья и голубенькие цветочки. Почему-то вдруг вспомнилась Барбара, образ которой поблек и удалился во время последних бед и треволнений. И вот сейчас, в ти-

шине овальной бухты, глядя на тонкие мокрые побеги, на голубые цветочки, повисшие над морской волной, Ю. явно увидел Барбару, и послышались звуки скрипки, загудела флейта. "Durch die Nacht die mich umfangen Blickt zu mir der Tone Licht" — "сквозь ночь, меня обступившую, глядит на меня свет звуков". Свет звуков — это у Брентано.

— Хорошая трава, — сказал Дава, глядя на мокрые длиннолистные побеги, на голубые цветочки, — в хозяйском государстве эту траву сушат и скоту скармливают. Я помню, так делали в старой Литве. Но лучше всего она годится на набивку мягкой мебели.

— Und Schlafrig fast von Blumen der Garten, — произнес Ю. вслух из Гельдерлина, потому что, готовясь к Шиллеру, он пытался читать в подлиннике и иных немецких поэтов.

Дава пристально посмотрел на Ю.

— Вы хорошо говорите по-немецки?

— Не очень, — ответил Ю.

— А что означает то, что вы сказали?

— И сад, почти усыпленный цветами...

— Ах, это стихи, — сказал Дава разочарованно, — но все-таки, если вы знаете немецкие стихи, то должны уметь по-немецки писать.

— Я пишу, — сказал Ю., — но не очень хорошо.

— Все-таки я хотел бы с вами посоветоваться, — сказал Дава, — попросить у вас помощи. Сегодня вечером я хотел бы вам кое-что показать.

Вечером опять пили шампанское и выпили много. Ю. купил две бутылки и три бутылки купил Дава. Пили за Израиль, за победу, за здоровье родных и близких.

— Закуска дрянная, — говорил Дава, — вот купил в Яблочном симферопольский сыр и чесночную колбасу... Приезжайте ко мне в Литву. Вы бывали в Литве?

— Недолго, — ответил Ю., — но я работал в Прибалтике, в Эстонии.

— Так вы знаете, что такое прибалтийская закуска. Индирити огуркай — огурцы фаршированные или якхине — паштет из печени. Отец мой был набожный, ел только кошерное и дед

набожный, а у меня жена литовка. Помните, блондин сидел со мной за столом? Это брат моей жены. И недавно вернулся их отец... Приехал, да...

Даву, как и Ю., тоже развезло, говорил он медленно, тяжело, то наклоняясь вперед, то выпрямляясь, точно искал центр тяжести.

— Нас столько убивали, вы, конечно, слышали, как литовцы убивали... детей били лопатами по голове... И вот теперь у меня трое детей... — Дава встал на шатких, непрочных ногах, прошел к чемодану, вынул оттуда портмоне и высыпал несколько фотографий курносого мальчика, лет восьми, курносой девочки с косичками, лет десяти, еще одного мальчика, лет четырнадцати-пятнадцати, — скажу откровенно, главное для меня теперь семейное гнездо и желудок. Вам, конечно, такое слушать странно, вы человек искусства... Так к чему я это говорю?.. Не знаю, как вы, но я уж некоторое время думаю о выезде. Жизни здесь нет и не будет. Я вам скажу, если б эти отсюда арабов не поджучивали, арабы давно бы примирились с Израилем. У меня есть брат Аба, большой шутник, так он прочитал в газете: советско-сирийские переговоры. "Переого" он зачеркнул, получилось — советско-сирийские воров. Мы так смеялись. Мой брат Аба совершенно не похож на меня. Курчавый, толстогубий. Он похож на негра. Мы так и зовем Абу "негро ид...". В Крыму тоже были свои евреи — крымиды...

— Караимы, — улыбнулся Ю.

— К чему я все это говорю? К тому, что нам пора отсюда смываться... А тоска по родине? Так как поет мой брат Аба, "Я тоскую, зукт эр, по родине, по родной, махт эр, стороне своей..." Я уже выбрал себе страну, куда поеду, новую родину... Это Германия, разумеется. Западная... Страна богатая, вот и вы рассказывали, какая там хорошая жизнь. К тому ж немцы нам, евреям, сильно задолжали и осознают это. Говорят, дают нам большие деньги, дают хорошие квартиры. Но у меня положение особое, я хочу поехать в Германию как возвращенец на родину, у меня для этого все права. Возвращенец на родину — это большие льготы, гражданство, немецкий паспорт и прочее... Скажите, немецкое посольство в Москве находится где-то возле зоопарка?

— Да, где-то там.

— У меня к ним не простой разговор, а документы, — сказал Дава, — поэтому мне нужен человек, который все напишет по-немецки, заявление и прочее. Конечно, не даром...

— Не знаю, смогу ли я написать заявление по-немецки, — сказал Ю., — так хорошо немецкий я не знаю.

— Жаль... Ну, хотя бы посоветовать, — он вынул из портмоне аккуратно сложенную бумагу, развернул. На бумаге стояла гербовая печать и подпись с завитушкой, — это копия. Подлинная справка у отца моей жены. Но если немецкому посольству понадобится, я вышлю, — он протянул бумагу Ю.

Это была копия справки из управления лагерей. В ней значилось, что такой-то отбыл десятилетний срок за службу в литовских отрядах войск СС. Ю. молчал, все время перечитывая справку, потом он поднял глаза на Даву, по-прежнему ничего не говоря.

— Конечно, — сказал Дава, — если б у него была тогда такая голова, как теперь... Он был тогда простой крестьянский парень и в восемнадцать лет у него уже было двое детей: моя жена и ее брат... Свое он отбыл, но теперь он, как я понимаю, считается немецкий служащий, ветеран, воевавший за Германию, и его дочь, моя жена, имеет все права на немецкие льготы и на немецкое гражданство. И дети мои тоже имеют в Германии все права, и я, конечно, как их отец. А мертвых уже не разбудишь...

Дава еще что-то говорил, но Ю. слышал только глухое буль-буль, буль, буль, как из-под водки. К глазам и горлу Ю. подступила тяжесть, и ему хотелось то ли заплакать, то ли вырвать. Неизвестно, сколько шампанского он выпил, может, бутылку, а, может, и две. Он ничего не ел, ни твердый сыр, ни чесночную колбасу, а только пил шампанское, стакан за стаканом. Ни слова не говоря, Ю. встал, налил себе шампанского, выпил один, без Давы, и вышел. От опьянения голова стала тяжелая, а ноги очень легкие, сами несли, чуть ли не скакали по тропе.

Ночь была без луны и звезд, непроглядная, бесконечная, по-адски тяжелая. Страшны такие ночи для одинокого чело-

века в гористой местности у моря. Моря не видно, лишь слышно, как оно шумит далеко внизу, слышна стихия, слышен голос хаоса, для человека неразличимый, но пугающий и угрожающий. "Дегенерат, — думал Ю. о Даве, — дегенерат, дегенерат, дегенерат... Вырожденец... А чем я лучше? Или Овручский, который танцует вприсядку... Но есть и хуже нас, те, кто сами участвуют в фараоновом угнетении... Если мы, евреи, просуществуем еще сто лет в России, среди этой клокочущей, как горячая адская смола, злобы, среди лжи и клеветы, среди ненависти, бесконечной и разнообразной, как хаос, то все превратится в моральных и физических уродов... Может, в таком качестве мы как раз здесь и нужны. Наш труд, наши идеи, наши открытия — это только побочный продукт, а главное — это наше существование. В книге одного сербского писателя сказано: людям всегда нужны хромые и юродивые, чтоб было на ком вымещать свое скотство..."

Ю. шел не думая куда, повинувшись лишь легким ногам своим. Сначала они несли его с горы, потом понесли на гору, все выше, выше... Вдруг какой-то камень сорвался и покатился с гулом вниз, далеко-далеко... Одно мгновение, один шаг, полшага, и Ю. покатился бы следом, увеличив ежегодную рутинную статистику смертности на Черной горе. Он откинулся назад, запоздало ухватился руками за ствол дерева. Болело сердце, болел желудок. Боли были схваткообразные: возьмет — отпустит... Но с каждым разом брало сильнее. Томящие ощущения в полости живота превратились в силу, давящую снизу, и хлынуло, потекло само собой. Рвало долго, мучительно, сначала шампанским, запах был прокисший, гнилой; потом горло, рот, губы обожгла нутряная горечь. "Желчь, — подумал Ю., — шампанское с желчью... В евангельские времена вино с желчью — пахучий напиток, обычно давали осужденным на распятие, чтоб их усыпить и сделать их менее чувствительными к мукам и оскорблениям... Богатые либеральные дамы специально благотворительствовали, приносили на место распятия сосуды вина, смешанного с желчью. Одни убивали и издевались, другие успокаивали... Такие, как мой Покровитель, как прочие с человеческим лицом... Но Иисус Христос не принял обманное утешение, он отказался пить. А мы пьем".

Уже рассветало. От рассветного тумана потягивало свежим холодком, но чувствовалось по светлеющему небу, что день сегодня будет теплый и пляжный. "Какой-то средневековый религиозный философ, — думал Ю., — предупреждал: остерегайтесь мыслей своих, ибо мысли слышны на небе. Доходят ли до неба наши мысли, или их перехватывают здесь, как перехватывают письма, отчего мы своих мыслей должны опасаться еще более".

Опьянение не минуло, но после того как Ю. вырвал шампанское с желчью, голове и животу стало легче, ноги же, наоборот, отяжелели. Ю. сел на скалистый выступ. От ночной тоски лоб был холоден, потен, Ю. вынул платок и отер лоб. Какая-то рассветная птица кричала в кустах с однообразным переливом. Послышалось, что она кричит: "Нетрезвый, фью-фью-фью, нетрезвый, фью-фью-фью".

Море внизу было тихо, манило к себе уставшее тело, звало быстрее окунуться в голубизну, на которой играли блики утреннего света. Воздух вокруг так же все более голубел. "Мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить", — вспомнилось из Бальмонта. "Нетрезвый, фью-фью-фью, нетрезвый, фью-фью-фью", — без усталости кричала птица.

На море, как в степи, горизонт виден далеко, но наблюдаемый с горы он кажется вообще в первобытной бесконечности, и над этой бесконечностью восходило доисторическое светило, первобытное огненное божество, которое обжигало лицо косыми своими лучами. Хотелось пить.

*Август 1986 года.
Западный Берлин.*

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; "Свободный мир"; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП "АВРОРЫ"

Инженер Сэм Житницкий: "Оплот Израиля"; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака

Книгу можно заказать в редакции "Время и мы":

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LBNONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201)592-6155**

Цена книги 10 долларов.
В книге 254 стр.



Михаил КРЕПС

СОТНИ ОСТАНОВЛЕННЫХ ДВОЕ МГНОВЕНИЙ

Я сижу за столом и пишу стихотворение.
 Я сижу за столом и не могу писать стихотворение.
 Мне кажется, что кто-то глядит на меня сквозь замочную
 скважину.

Я чувствую спиной чей-то пристальный взгляд.

Я поворачиваюсь и вижу голубой глаз,
 Светящийся из замочной скважины.
 Голубой глаз рассматривает меня с интересом.
 Я вскакиваю со стула, открываю дверь — никого.

Я сажусь за стол и пишу стихотворение.
 Спиной чувствую чей-то пристальный взгляд.
 Оборачиваюсь — глаз.
 Бросаюсь к двери, открываю — никого.

Я сажусь за стол и пишу стихотворение.
 Я не могу писать стихотворение.
 Сквозь замочную скважину — глаз.
 Я надеваю пальто и шляпу, открываю дверь — никого.

Я иду по пустынной улице прочь от дома.
 Из всех замочных скважин
 На меня смотрят внимательные голубые глаза.
 Я поднимаю воротник, надвигаю на брови шляпу
 И стараюсь не смотреть по сторонам,
 Но всем телом чувствую пристальные взгляды.

Я поворачиваюсь и быстро иду домой.
 Перед тем как войти в комнату я наклоняюсь,
 Чтобы посмотреть в замочную скважину.
 В комнате за столом сидит поэт и пишет стихотворение.
 Вдруг он поворачивается.
 Чувствуя спиной мой пристальный взгляд.
 Я резко открываю дверь, вхожу — никого.

Я снимаю пальто и шляпу,
 Сажусь за стол и пишу стихотворение.
 Я не могу писать стихотворение.
 Спиной чувствую чей-то пристальный взгляд.
 Бросаюсь к двери, открываю и

Вижу себя, возвратившегося с прогулки.
 Мы садимся за стол, мирно беседуем, пьем чай.
 Спинами чувствуем чей-то пристальный взгляд,
 Но не обращаем внимания.
 Теперь нам не страшно. Нас — двое.

КВАДРАТИКИ ЖИЗНИ

Фотография — великое изобретение,
 Дерзкая попытка остановить время.

И вот — блестящие результаты налицо:
 Аккуратные квадратики остановленных мгновений
 Во всей их сложности и пестроте
 От чуть заметной усталости в уголках губ
 До небрежно брошенной на пол пластинки,

С которой улыбается бородатый толстяк,
Являя пример квадрата времени в квадрате.

Сотни остановленных мгновений!
Раскладывай их по альбомам,
Помещай в рамку под стекло,
Тасуй как карты,
Меняй порядок событий и стран, —
Не бойся —
С прошедшим временем можно не церемониться,
Оно безобидно.
Оно безответно.

Но...
Чем больше коллекция квадратиков жизни,
Тем яснее,
Что время — неостановимо.
Некогда великие слова поэта
Превратились
В банальную скороговорку вертлявого ремесленника.
Между ними теперь нет разницы!

Фотография — жалкое изобретение.
Тщетная попытка остановить время.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО ЯБЛОКО

Принято считать,
Что цель жизни яблока,
Попасть в компот,
Варенье или пирог.

Но вот лежат на осенней земле
Старые коричневые яблоки,
Давно сброшенные ветром с насиженных мест,
Покрытые вмятинами и морщинами,
Не подаренные ни Еве, ни Елене,

Ни иной красивой или некрасивой женщине,
Не явившиеся причиной мира или раздора,
Не послужившие делу познания добра и зла,
Не брошенные злой мачехой доверчивой падчерице,
Яблоки, не попавшие ни в историю,
Ни в человеческий желудок.

Скоро их покроет плотное одеяло снега,
Но еще долго маленькие белые бугорки
Будут выдавать их незримое присутствие.
Старые сморщенные яблоки,
Не укатившиеся далеко от яблони,
Ничем не удивившие мир,
Не вошедшие ни в одно кулинарное чудо,
Но
Дающие начало будущему яблоневому саду.

Старые коричневые яблоки —
Золотые яблоки вечной молодости,
Не нуждающиеся в охране
Ни Эглы, ни Эрифии,
Ни дракона Ладона.

Изредка подойдет к ним
Заяц или собака,
Перевернет на другой бок,
Понюхает и отойдет прочь.

Сморщенные коричневые яблоки,
Предоставленные ветру,
Времени
И самим себе.

БУТОН ГОЛОВЫ

В часы одиночества расцветает бутон головы.
Медленно раскрываются гладкие лепестки,
Обнажая хрупкую бело-розовую изнанку,

Капли росы отражают многоликий мир,
 Тычинки начинают с пестиком любовные игры,
 Комната наполняется ароматом творчества,
 И музы слетаются собирать сладкий нектар поэзии.

Тишину нарушает телефонный звонок:
 "Я забыла выключить свет в уборной", —
 Доносится взволнованный голос жены.
 Бутон закрывается.
 В зеркале туалета появляется
 Нормальная круглая голова.
 Потом и она исчезает.

ДРУГ ЧЕРЕЗ ДРУГА

Люди проходят друг через друга,
 Соприкасаясь умами и сердцами,
 Старики через молодых,
 Молодые через стариков,
 Женщины через мужчин,
 Мужчины через женщин,
 Мертвые через живых,
 Живые через мертвых.

Каждая встреча — расставание,
 И каждое расставание — встреча,
 И пока продолжается это движение
 Друг через друга,
 Это превращение жизни в память
 И памяти в жизнь,
 Не будет
 Ни конца света,
 Ни судного дня,
 Ни ада,
 Ни рая,
 Ни смерти,
 Ни воскресения.

МИР МОЕЙ МАТЕРИ

Понемногу исчезает мир моей матери.
 В памяти немногих еще звучит
 Эхо песенки "-тошка, -тошка, -тошка",
 Но слова уже полустерты,
 И никому не хочется их восстанавливать.

Есенин и Маяковский, жившие на губах,
 Давно стали принадлежностью литературы,
 На их место пришли другие кумиры,
 А потом третьи, а потом четвертые.

Где вы, патефоны с заводной ручкой,
 Игравшие песенки из популярных кинофильмов,
 Цыганские романсы, арии из оперетток:

"Этот веер черный, —пам-пам, пам, пам;
 Веер драгоценный..."
 "Тот из вас, кому хоть раз
 В любви не повезло..."

Кто такая Любовь Орлова,
 Фотографии которой
 Родители находили под подушками
 У юных пионеров?
 Куда пропал дух гражданского энтузиазма?

"А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер,
 Веселый ветер, веселый ветер!..."
 "Чилавеку чи-ла-век!"

Где ты четырехугольный уличный громкоговоритель
 Со страшными словами:
 "Пятилетку в четыре года", или
 "От Советского информбюро?"
 Юрий Борисович, ваш голос был голосом Родины.
 "Далеко-далеко, где кочуют туманы..."

Где тысячи страниц газетной макулатуры,
 Полные животрепещущих проблем:
 Носить или не носить галстук?
 Алкоголь — буржуазный пережиток
 Или социальная распущенность?
 Канарейка в клетке — мещанство или уют?

Кто помнит бурную дискуссию
 "О любви в романах Малышкина",
 Занимавшую молодые умы
 Больше десяти месяцев?
 Кто помнит вообще, кто такой Малышкин?

"Отцвели уж давно хризантемы в саду..."
 "Танго, эта старая пластинка
 Напоминает мне..."

Она уже почти никому ничего не напоминает.

После смерти матери
 Осталась картонная коробка
 С тетрадкой переписанных от руки стихов,
 Дюжиной пыльных пластинок,
 Альбомом звезд советского экрана
 Тремя похвальными грамотами,
 Театральными афишами, фотографиями вечеров встречи,
 Рукописью сочиненного ею капустника
 О каких-то никому неведомых сослуживцах,
 Паспортом деда-лишенца, похоронкой на брата,
 Позеленевшими медалями
 за то и за се,
 Письмами, письмами, письмами.

"В запыленной пачке старых писем..."

Если рядом с коробкой
 Поставить огромный газетный шар,
 Скатанный из прочитанных за всю жизнь заметок,

Откликов, дискуссий, передовых статей,
 Таблиц выигрышей трехпроцентного государственного займа,
 Сообщений под рубрикой "Из зала суда",
 "Все на выборы", "Их нравы",
 "Нарушителям — бой!", "Быстрыми темпами",
 "Из зала суда", "Все на выборы"...

То получится незатейливая скульптура
 С символическим названием:
 "Мир моей матери".

"Эх, хорошо, друзья, на свете жить..."
 "А парень с милой девушкой..."
 "Я из пушки в небо уйду,
 В небо уйду..."

ТАК ГОВОРЯТ ПОПУГАИ

С двадцати пяти лет
 Человек начинает превращаться в попугая.
 Повторяет чужие мысли, привычки, слова.
 Носит то, что носят другие вокруг него.
 Щелкает те же интеллектуальные семечки.

Хватая клювом решетку,
 Делает вид, что хочет ее перегрызть.
 Но за горсточку проса
 Готов повторять что угодно.

К пятидесяти годам перед нами
 Уже вполне сложившийся попугай,
 Такие обычно живут долго.
 Ходят, выпятив грудь,
 И кричат направо и налево:
 Дуррак! Дуррак!

Попугаи не меняются —
 Они лишь переставляют пластинку.

На смену: "Пушкин! Пешков!"
Приходит: "Пастернак! Мандельштам!"

При этом хвалят себя или тех,
Кого давно уже нет в живых.
Остальных ругают.
(Если от них ничего не зависит).
Задача каждого попугая —
Превратить своего ближнего
В себе подобного.

Обычно они начинают так:

Пушкин, Пешков!
Пешкин, Пушкин!
Мандельштам, Пастернак!
Пастерштам, Мандельнак!
Дуррак! Дуррак!

И так же кончают.

А ответить: "Сам дурак!" — некому.
Этому не учили.

Попугаям легко попасть на язык
Тем, кто не хочет на них походить.
Но обычно это желание исчезает.
Примерно с двадцати пяти лет.
Исключения только подтверждают правило.
Так говорят попугаи.

Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА

БОРЬБА В КРЕМЛЕ —

ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА

Вслед за американским изданием (издательство "Додд, Мид"), весной 1986 года "Время и мы" выпустило книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле — от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги.

Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.). Их перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и широко нашумевшая книга "Андропов".

СОДЕРЖАНИЕ

**ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ: ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО
КРЕМЛЬ — О МИРЕ**

**О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА
ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО
ПОХОРОНАМИ**

**ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО
ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ — КГБ
ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: КАК БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ
В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН, МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?
КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!**

**ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ
БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО
ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ
КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД, ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ**

Цена книги — 16 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue
Leonia, NJ 07605, USA

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РОБЕРТЕ КАЙЗЕРЕ

С Робертом Кайзером я встретился в Москве, когда он там работал корреспондентом газеты "Вашингтон пост". Встреча была, собственно говоря, деловая. В советской печати велась тогда кампания против Андрея Дмитриевича Сахарова. К тому моменту общество было уже так запугано, что публичные поношения одного из самых благородных граждан нашей страны люди сносили молча. Именно поэтому я и Павел Литвинов написали тогда заявление в поддержку Сахарова и встретились с Робертом Кайзером, чтобы он переправил это заявление для публикации в своей газете.

В тот вечер пришло известие, что в Чили произошел военный переворот, и президент Альенде убит. В нашей московской компании эта весть была встречена почти с ликованием. А Роберт Кайзер, один из первых встреченных мною в жизни американцев, сказал: "А чему вы радуетесь? Ведь кровь человеческая пролилась". Мало в моей долгой жизни было эпизодов, которые оказали такое сильное воздействие на формирование моих взглядов.

Роберт Кайзер родился в Вашингтоне в 1943 году. Он учился в Йельском университете, в также в Лондонской школе экономики. Начиная с 1963, года сотрудничал в газете "Вашингтон пост" — сначала, в студенческие годы, в качестве внештатного репортера, а затем — корреспондента газеты в Лондоне, в Сайгоне и, наконец, с 1971 по 1974 год Роберт Кайзер возглавлял бюро газеты "Вашингтон пост", в Москве. В 1974 году работа Роберта Кайзера была отмечена призом "За лучшие заграничные корреспонденции".

Вернувшись в Соединенные Штаты, Роберт Кайзер опубликовал книгу "Россия. Власть и народ", которая сразу же завоевала популярность у читателей. В 1976 году она была издана также и в русском переводе издательством "Ардис". Что же касается Советского Союза, то власть пустила в ход свои обычные средства, чтобы народ эту книгу не прочел. А жаль: из этого чтения можно было бы извлечь много поучительного, хотя бы и Михаилу Горбачеву.

Борис ШРАГИН

ПУБЛИЦИСТИКА,
СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА.



Роберт КАЙЗЕР

СОВЕТСКИЕ АМБИЦИИ

Перевел с английского Борис Шрагин

Идеология русского коммунизма впервые шагнула через границы страны в тот момент, когда произошел большевистский переворот и когда Россия была еще отсталой и отчаянно бедной. С тех пор главная идея марксизма-ленинизма, идея неизбежности борьбы между "социализмом" и "империализмом" и неминуемого триумфа "социализма", тревожит и пугает Запад.

В самом Советском Союзе эта непрестанно подстегиваемая вера в безусловное превосходство социализма стала основой массового сознания. Непрестанно повторяя догмы этой веры, вожди убеждают народ, что его жертвы и лишения не напрасны, что они благородны, поскольку служат высшей цели мирового развития.

Эту официальную убежденность в решающем превосходстве советской системы и в ее конечной победе над капитализмом можно назвать "советскими амбициями". Такая убежденность успела вырасти в ментальность населения и стала

Foreign Affairs, Winter 1986-87.

важнейшим идеологическим оружием советских вождей от Ленина до Черненко.

Во времена Горбачева, однако, "советские амбиции" рушатся. Близится решительный перелом.

Вполне обоснованы сомнения кремленологов в том, увенчается ли успехом стремление Горбачева "перестроить" советскую экономику. Два года его пребывания у власти, по собственным его признаниям, решительных сдвигов не принесли. Вероятно, лишь через много лет представится возможность оценить по достоинству реформы, которые осуществляются в СССР.

Но и теперь мы не можем не видеть те качественные сдвиги, которые благодаря Горбачеву произошли в советской официальной лексике и вслед за этим в представлениях советского общества о самом себе. Горбачев отбросил риторику, на которой воспитались и он сам, и его соотечественники. Сложившаяся традиция предписывала замалчивать все неприятное и упорно твердить о величии советской державы, о ее славных победах и лучезарности ее будущего. Горбачев, напротив, говорит о малоприятном, — например, о застое экономики. Он намерен радикально изменить сознание советских граждан. По его мнению, это необходимо, чтобы выправить положение.

Поначалу эти новшества радовали своей свежестью и вызвали симпатии к новому руководителю со стороны его соотечественников. Но в глубоко идеологизированном обществе, где сознание определяется лозунгами, подобного рода новая лексика, может повлечь за собой серьезные политические последствия. Фактически Горбачев аннулировал обещания своих предшественников о будущем счастье — счастье навеки. Он, правда, не отверг надежд на величественное завтра, но лишь при условии, что нынешний "статус кво" будет в экстренном порядке трансформирован в лучшую сторону.

При всем этом Горбачев избегает конкретных определений и разъяснений, какие именно перемены он имеет в виду. Так что самым ревностным и преданным из советских граждан остается лишь гадать, чего он от них ждет и как научиться тому

новому подходу к работе, о котором непрестанно говорит Горбачев.

Горбачев, конечно, считает, что перемены будут к лучшему, но есть серьезные основания в этом сомневаться. В конечном счете, "гласность" Горбачева может лишь обескуражить советское общество, еще более способствуя цинизму, который и без того успел укорениться.

Вместе с тем, внося коррективы в советское самосознание и признавая, сколь далеко советскому обществу до идеала, Горбачев может оказать западному общественному мнению нечаянную, но важную услугу. Запад получит возможность заново, более реалистически оценить Советский Союз и выработать новый, более здравый подход к решению советской проблемы.

2

Вероятно, самой типической для советской идеологии старого образца была третья "Программа КПСС", принятая при Никите Хрущеве на XXI съезде, в 1961 году. "Социализм неизбежно придет на смену капитализму повсюду, — провозглашалось в этой программе. — Империализм бессилён воспрепятствовать неуклонному процессу освобождения".

Все это — обычная советская риторика. Но в программе 1961 года партия сделала еще один, весьма рискованный шаг вперед, предложив конкретные прогнозы на предстоящее двадцатилетие: за первые десять лет производство должно было возрасти на 250%, превзойдя уровень Соединенных Штатов; а за все двадцатилетие этот рост должен был составить 500%, оставив далеко позади Соединенные Штаты... Уже к концу первого десятилетия Советскому Союзу предстояло превзойти Америку по производству основных продуктов питания на душу населения... К концу второго десятилетия каждой семье, включая молодоженов, была обещана удобная квартира.

Вскоре стала очевидна беспочвенная фантастичность этих планов, и о них предпочли побыстрее забыть. На XXVII съезде

Горбачев и его коллеги, формулируя экономические задачи, проявили гораздо большую сдержанность.

Но, как воплощение надежд правящей элиты, третья программа партии все еще остается важным документом. Эта элита состояла из людей, которым удалось выжить в сталинскую эпоху и стать свидетелями того, как их страна победила во второй мировой войне, как она после этого успешно восстановила силы и первой начала освоение космоса. У этих людей не было серьезных оснований сомневаться в том, что их система способна создать великую и конкурентоспособную мировую державу. Конечно, уже и тогда в советском обществе были серьезные провалы, но с ними, как полагал советский правящий класс, можно было без всяких трудностей справиться; общая перспектива представлялась ясной и обнадеживающей.

Воплощенный в "Программе КПСС" 1961 года стиль мышления сохранялся еще около четверти столетия. Наследники Хрущева — от Брежнева до Черненко — вторили оптимистическим мотивам его пропаганды, хотя некоторые излишне оптимистические прогнозы больше не упоминались.

Публичные заявления Горбачева, в сравнении с успокаивающей, уныло однообразной риторикой его предшественников, звучат как будильник ранним утром. "От рабочего до министра, до секретаря Центрального Комитета, — говорил Горбачев в 1985 году, — перестроиться должны все. Кто не намерен перестраиваться, должен уйти с дороги". Чем же диктуется такая экстренность перемен? От них, как говорил Генеральный секретарь Центральному Комитету в начале 1985 года, зависят "исторические судьбы страны и положение международного социализма". Но и через восемнадцать месяцев своего пребывания у власти Горбачев вынужден был признать, что качественных сдвигов, которые привели бы к консолидации сил на пути перестройки и роста, до сих пор не произошло... Главное, еще впереди.

Если аудитория Горбачева расположена воспринимать его слова всерьез, то она не может не быть обескуражена как пессимизмом в оценках прошлого и настоящего, так и грандиозностью перестройки, на которой он снова и снова настаивает.

Откровенность нового руководителя нарушает привычные советские табу. Вероятно, теоретически можно было предвидеть, что рано или поздно в Советском Союзе появятся лидеры, которые вынуждены будут заговорить открыто о тяжелых проблемах страны. Горбачев, Ельцин и другие начали приближать советскую пропаганду к действительности. Однако, с точки зрения практической политики, такой поворот к откровенности — дело рискованное. Вместе с ним терпит крушение тот казенный советский оптимизм, который еще десятилетие тому назад воодушевлял правящий класс, внушая ему мечту о росте международного могущества принадлежавшего ему государства.

В начале 70-х годов Москву посетил президент Никсон, и советские пропагандисты восславили этот факт как свидетельство исторического поворота в "соотношении сил" в сторону "мирового социализма". Многим могло тогда померещиться, что вот-вот сбудутся наконец предсказания Ленина и Сталина. События, казалось бы, этому благоприятствовали: американцы проиграли войну во Вьетнаме и переживали тяжелый внутриполитический кризис; Вашингтон молчаливо признал превращение Советского Союза в мировую державу, подтвердив этот его статус рядом соглашений, подписанных между 1972 и 1974 годами; последовавшая за этим советско-кубинская авантюра в Анголе и Эфиопии подтверждала, что новая возникшая сверхдержава может эффективно пользоваться своей мощью на практике.

И действительно, со времен "Спутника" в 1957 году вплоть до апогея политики детанта советской партократии легко было вообразить, будто СССР движется по восходящей, успешно соперничая с Соединенными Штатами и твердой поступью двигаясь к доминирующему положению в мире. Разумеется, путь предстоял непроторенный, нелегкий, но марксисты-ленинцы, казалось, понимали диалектику истории, знали, что она движется конвульсиями и скачками. Те же самые люди элиты охотно признавали, что еще многое предстоит сделать прежде всего для повышения стандартов жизни населения. Но вплоть до середины 70-х годов они могли позволить себе удовольствие оставаться оптимистами.

За последнее десятилетие, розовая картина начала явно тускнеть. Обнаружилось, что детант в стиле 70-х годов вовсе не ознаменовал существенных сдвигов в соотношении сил. Соединенные Штаты оправились от фиаско во Вьетнаме и начали открыто препятствовать советской экспансии. Левые политические партии по всей Западной Европе переживали кризис, а Северо-атлантическое оборонительное сообщество проявило неожиданную решимость при размещении американских ракет среднего радиуса действия в 1983-84 годах. Даже Япония после избрания премьер-министром Ясухио Накаоне повела себя сравнительно жестко.

Решение советского руководства отказаться от своей традиционной экономической обособленности (этот важный аспект политики "мирного сосуществования" на Западе так и не был оценен по достоинству) — тоже не сработало с ожидаемой эффективностью. Западная техника не принесла Советскому Союзу тех благ, на которые рассчитывали Брежнев и Косыгин. В то же время усилилась зависимость от Запада Советского Союза и связанных с ним стран Восточной Европы, на которых легло бремя международных долговых обязательств. Перманентный польский кризис, начавшийся, казалось бы, столь внезапно в 1980 году, подорвал оптимизм относительно перспектив советской гегемонии в Восточной Европе. За последнее десятилетие отчетливее стало вырисовываться техническое будущее человечества, которое диктует необходимость широкого распространения компьютеров, — новшества, явно чуждого, инородного в условиях советской действительности.

Но самое существенное, вероятно, в том, что теперь для всех стало очевидным крайне тяжелое состояние советской экономики — сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг. Снижается материальное благосостояние, ухудшается физическое здоровье советского общества. К пугающей статистике сокращения средней продолжительности жизни приходится прибавить рост преступности и разводов. И все это на фоне неуклонно ухудшающегося положения с продуктами питания.

Эта внезапная перемена фортуны не могла остаться незамеченной для многих советских коммунистов. Какое-то новое ощущение неблагополучия мне сразу бросилось в глаза во время моего месячного визита в Москву в конце 1984 года. Представители элиты едва скрывали унижительность своего положения, когда им приходилось представлять запинающегося Константина Черненко твердым политическим лидером. Восхождение Горбачева на следующий год смягчило это настроение и оживило надежды. Но и советская элита, если судить по свидетельствам участников нынешних дебатов, резко расходится в вопросе о том, действительно ли Горбачев способен улучшить положение или всего лишь предотвращает его ухудшение. Сам Горбачев отнюдь не помогает оптимистам в этом споре, хотя и не устает твердить о роли перестройки во взглядах и поведении людей.

3

Крушение "советских амбиций" представляет собою лишь позднюю стадию долгого процесса, который начался со смертью Сталина, когда страна стала постепенно избавляться от сталинской идеологии. Коль скоро этот процесс начался, его трудно было остановить. С этой точки зрения, нынешние призывы Горбачева к "гласности" следует признать результатом длительной эволюции, что, впрочем, не должно помешать нам оценить по достоинству его решительный разрыв с прошлым.

Посторонним наблюдателям не следует недооценивать важности сталинской идеологии для советского государства. Эта идеология формировала мировоззрение всех советских политических деятелей, — в том числе, разумеется, и самого Горбачева. Мифический образ "советской мощи", которая призвана превратить отсталую Россию в глобальную сверхдержаву, властвовал над несколькими поколениями советских коммунистов. Северин Бялер справедливо заметил, что когда Хрущев взбудоражил Запад своим заявлением "мы вас похороним", он вовсе не угрожал, а высказал лишь то, что было для него политическим трюизмом. Убеждение, что история на

стороне коммунизма, что анархический американский капитализм будет непременно похоронен, "было для Хрущева столь естественно, — пишет Северин Бялер, — что его искренне удивила буря, вызванная его заявлением".

Западным людям трудно оценить силу воздействия сталинских замыслов на его страну. Мемуары советских интеллигентов, духовное формирование которых пришлось на годы правления Сталина и которые эмигрировали на Запад (например, книги Раисы Орловой и Льва Копелева), напоминают нам, сколь слепы были тогда даже самые разумные из советских граждан, сколь некритически усваивали они сталинское понимание действительности 1930-40-х годов.

Адам Улам охарактеризовал сталинское понимание роли идеологии так: "Нельзя держать общество под полным контролем, пользуясь лишь политической и экономической уздой; народ нельзя мобилизовать на великие усилия, на тяжкие, страшные жертвы, если пренебречь его духовным и умственным воспитанием". Именно поэтому создал Сталин собственную версию марксизма-ленинизма, подкрепив ее чудовищными жестокостями и миллионами жертв. "Они погибли, — писал Улам, — чтобы жизнь подтвердила истинность догмы. Жизнь, согласно внушенной Сталиным вере, должна восприниматься как непрерывное сражение сил света и тьмы. Пренебречь этой борьбой означало бы лишит коммунизм его вдохновляющего смысла, превратить его в прозаическое дело инструкций и администрирования, свести его к философии, которая нуждается в менеджерах и экспертах, а не в героях и вождях".

Сегодняшний советский коммунизм как раз и превратился в прозаическое дело менеджеров и экспертов, а не героев. За три десятилетия, прошедшие после смерти Сталина, советская система неуклонно катится вниз: коррупция и пьянство, халатность и казнокрадство стали, как теперь признается и официально, повсеместным явлением. Тоска по твердой сталинской руке среди рядовых русских людей свидетельствует, что тяга именно к такому типу руководителя не изгладилась в народе. Но когда нет вождей, способных прибегнуть к насилию

в таких масштабах, как это делал Сталин, не мог сохраниться и сталинский тип руководства. Возродить сталинские методы невозможно хотя бы потому, что одной из главных жертв сталинского террора оказалась сама партия, и она не намерена снова подвергать себя подобному же риску.

Хрущев разоблачил преступления Сталина, но оставался последним истинно верующим сталинистом. За долгие годы, когда страной правил Брежнев, умами все больше овладевал цинизм. Сам Брежнев как будто бы не отказался от сталинских оптимистических призывов, но твердил их без всякого смысла, превращая в надоедливое пустословие. Он прилип к власти, не желая уступать ее кому бы то ни было. Общественная нравственность начала разлагаться. Так Брежнев невольно подготовлял обстоятельства, которыми теперь намерен воспользоваться Горбачев. Эпоха Брежнева все больше, все чаще, все прямолинейнее становится козлом отпущения в речах нового советского лидера.

4

Горбачев и его коллеги ведут сейчас борьбу с пьянством, с цинизмом и бездельем, будучи, вероятно, уверены, что если им удастся все поставить на свои места, то возродятся и "советские амбиции". Нынешние лидеры отнюдь не готовы примириться с отсталостью своей страны как с перманентным явлением, даже если им придется временно отказаться от деклараций и лозунгов, которые звучат уже как нелепость даже для привыкших ко всему советских людей. Новая политика "гласности", призывы к "перестройке" — это тактика, имеющая своей целью оживить систему, но отнюдь не признать ее крах.

Однако, они зловеще напоминают именно такое признание и потому политически рискованны. Пытаясь где-то подлатать, а где-то подновить посулы коммунизма, Горбачев невольно ставит под вопрос саму правомерность существования советской системы. Долгое время было достаточно формулы "цель оправдывает средства", чтобы исчерпывающе объяснить, поче-

му дела обстоят именно так, а не иначе. Теперь, когда руководство страны, по всей видимости, убеждается, что желаемая цель нуждается для ее достижения в иных средствах, прежняя формула уже не выглядит столь надежной гарантией.

Но не так-то просто для идеологизированного общества вдруг расцвести, если исчезают убедительные, с точки зрения утвердившейся догмы, объяснения сегодняшней жизни и перспектив на будущее. И во множестве случаев новый подход рождает растерянность, недовольство, напряженность. Примером тому может служить съезд партии 1986 года, где после красноречивой речи Горбачева в защиту перестройки хозяйственного механизма, премьер-министр Николай Рыжков, который непосредственно ответствен за экономику, полностью пренебрег этой темой в своем докладе.

Не однажды случалось так, что самого Горбачева правила партийная цензура. Один такой интригующий случай произошел прошлым летом. В своей речи перед партийными работниками Хабаровска 31 июля Горбачев сделал следующие замечания о партийных кадрах:

"Должно быть обеспечено сочетание опытных кадров с молодыми. Должен быть процесс продвижения и роста, но для заслуживающих этого, без покровительства и приятельских отношений, а соответственно достигнутым успехам. Должен быть постоянный приток свежих сил (т.е. новых людей)".

Когда "Правда" опубликовала "текст" этой речи 3 августа, тот же отрывок читался так:

"Мы должны обеспечить сочетание опытных и молодых кадров на основе продолжающегося процесса роста и продвижения кадров при должной оценке их политических и профессиональных качеств".

Согласно "Правде", уже не было нужды в "постоянном притоке свежих сил", как и в критике "покровительства и приятельских отношений". Эти темы оказались столь болезненны, что самому лидеру партии по этому поводу нельзя было высказаться в центральном органе той же партии (если, конечно, он сам не подверг себя цензуре).

Этика партии — под вопросом; ее идеология не создает бо-

лее душевного комфорта. Сами проблемы идеологии заметно утратили свою былую важность. На съезде партии один только Егор Лигачев, секретарь Центрального Комитета, ответственный за идеологию, довольно подробно говорил с трибуны на идеологические темы, не высказав при этом ничего нового или интересного. Что же касается самого Горбачева, то в его обширном докладе на съезде были повторены старые формулы насчет внутренних слабостей капитализма. Но делалось это, по всей видимости, для того, чтобы таким образом сбалансировать критику современного состояния советского общества. Все более формальными становятся в речах политиков и печатной пропаганде ритуальные поклоны Ленину.

Да и сама партия перестала быть политической силой, в практическом смысле этого слова. Вольфганг Леонгард пишет в своей новой книге, что членам партии теперь даже не предписывается какая бы то ни было политическая роль. Вместо этого их увещевают, чтобы они были образцовыми гражданами и патриотами, подавали пример трудолюбия. Коммунистическая партия Советского Союза, согласно Вольфгангу Леонгарду, могла бы переименовать себя в "Союз патриотов" или в "Партию родины".

5

В пятилетнем плане, к выполнению которого приступили сравнительно недавно, Горбачев и его коллеги пытаются спешно залатать доставшуюся им в наследство систему, покончить с ее расточительством, остановить переживаемый ею спад, добиться ее подъема. Горбачев охарактеризовал поставленную им задачу как "самое трудное дело — заставить вновь вертеться этот тяжелый маховик". Затем, если верить новому руководителю, "в следующую пятилетку дела пойдут быстрее и темпы будут нарастать". Но менее увлеченный человек сказал бы, что после пятилетия сравнительно робких экспериментов, которые не принесут ожидаемых плодов, Горбачеву придется решиться на более радикальные меры, которые, быть может, сработают, а, может, и не сработают.

Если речь идет о перспективах, которые ждут Горбачева и его страну, то гораздо легче быть пессимистом, чем оптимистом. Речь идет, конечно, вовсе не о том, сохранится ли Советский Союз, даже если Горбачева как реформатора ждет неудача. Страна переживет и это. И почти наверняка она останется сильна и могущественна, сколь бы долго он ею ни правил. Однако, если Горбачев не окажется невероятно удачлив как реформатор, он вряд ли сумеет возродить Советский Союз как действительного конкурента Соединенных Штатов и их союзников в борьбе за мировое лидерство. Скорее всего ему придется быть главой страны, которая будет все больше клониться к упадку, а в конце двадцатого столетия останется далеко позади многих более динамических обществ и все еще будет предлагать своим гражданам второ- и третьеразрядный уровень жизни, но при этом по-прежнему ошестиниваясь перворазрядными вооружениями.

Что можно предвидеть уже теперь, так это — утрату советского государственного идеала, крушение советских претензий на мировое господство. Поднять Россию на гребень мировой истории в то время, когда нарастание внутренних противоречий приведет к падению великих держав Запада, — в этом была вся идея большевистской революции. Таков, по крайней мере, был ее розовый ленинский сценарий; и чтобы от него окончательно отказаться, понадобилось новое поколение советских лидеров, которые сумели переформулировать и свои личные взгляды, и взгляды партии на их страну и на ее место в мире.

Уже теперь некоторые советские граждане начинают реагировать на Горбачева скептически, что явно не способствует усилиям Генерального секретаря оживить экономику при помощи проповедей и уговоров. Какое-то время Горбачев еще сможет перемежать критику призывами. Но надолго ли останется пригодна такая тактика? Не принесет скорых результатов, она станет выглядеть пустым хвастовством. Через несколько лет Горбачев снова окажется перед выбором: либо возрождать Великую Ложь, утверждая будто все стало хорошо наперекор очевидности (которая свидетельствует о противоположном), либо, наконец, открыто признать, что в неудачах

страны повинна система (как это и есть в действительности).

Предсказания о переменах и сдвигах в настроениях народа — всегда рискованны. Но все-таки представляется вероятным, что вслед за неудачей горбачевской "перестройки" воцарится пессимизм. У Брежнева в первое десятилетие его правления были явные преимущества. Он стоял во главе народа, уровень жизни которого, пусть и медленно, но все-таки повышался на протяжении тридцати лет.

К середине 90-х годов, если нынешние тенденции к упадку не будут решительно преодолены, Горбачев или его наследник окажутся лицом к лицу с населением, которое успеет разувериться во всем. Его уровень жизни будет оставаться либо замороженным, либо даже снижаться на протяжении двадцати лет. А к этому надо еще добавить, что советские люди середины 90-х годов будут гораздо лучше осведомлены о жизни в остальном мире, чем в 60-е или 70-е годы, и тем глубже будут сознавать неполноценность своего положения.

Застой Советского Союза в мире нарастающей динамики и стремительного роста некогда отсталых народов будет еще более усугублен идеологическим распадом. Трудно даже вообразить, какими способами идеология марксизма-ленинизма сможет и дальше служить идеологическим обоснованием власти над страной. Фактически уже давно обнаружилось, что одного марксизма-ленинизма тут недостаточно. Не он, а национализм, точнее русский национализм послужил эффективной заменой исчезающей коммунистической веры, когда Сталин положил его в основу вооруженной борьбы с Германией. И сегодня Горбачев продолжает говорить своим соотечественникам, что их жертвы не были напрасны, поскольку они сделали Советский Союз великой державой; гораздо реже он упоминает успехи коммунизма или завоевания мировой революции. Но какие-то элементы "советских амбиций", издавна вызывавшие беспокойство на Западе, сохранятся, пока сохранится существующая в Советском Союзе система. Один из этих элементов — миф о партии и ее ведущей роли, который служит обоснованием господствующего положения советской элиты;

другой — это убеждение в том, что борьба между "социализмом" и "империализмом", иначе говоря, Советским Союзом и Западом продлится неопределенно долго. Тем самым та же элита получает удобное оправдание своего господства над обществом. Но дольше всего останется, по всей вероятности, чувство враждебности к окружающему миру, которое успело укорениться в русском национальном характере.

6

Если наступит период упадка Советского Союза, сопровождаемый существенными сдвигами в советской самооценке, то какие это может иметь последствия для остального мира? Какие преимущества могут извлечь Соединенные Штаты и их союзники из этих перемен?

Традиционные западные рекламации на тему "Что делать?" приходится признать в целом неудовлетворительными. Обычно эти рецепты напоминают проповеди Горбачева об экономических реформах. Они требуют решительных и немедленных перемен — в данном случае, в западной политике и дипломатии. Конечно, было бы желательным сосредоточить внимание на проблемах в решении которых заинтересованы и Восток, и Запад. И при этом проявлять твердость и настойчивость, разумно пользуясь то кнутом, то пряником и так далее. Все это звучит весьма благонамеренно, но, судя по прошлому, ничего хорошего не сулит.

Трактаты профессиональных дипломатов и ученых не в силах изменить основные особенности западной и, в частности, американской жизни. Соединенные Штаты навряд ли будут вести искусную, утонченную внешнюю политику, покауда они сохранят свой характер суматошной демократии, которая представляет возможность бесчисленному количеству фракций влиять на политику, а подчас и захватывать контроль над нею. Американские президенты, в сущности, никогда не избираются в зависимости от их внешнеполитических планов; усиление роли внешней политики обычно определяется либо психологическими, либо символическими причинами. Итоги воз-

действия американской системы на внешнюю политику проявляются лишь в экстремальных ситуациях и весьма редко — в будничной дипломатической работе.

Американская политика в отношении Советского Союза долгое время встречала трудности из-за отсутствия согласованного подхода относительно характера советской угрозы, из-за нечеткости представления, чего же Соединенные Штаты должны стараться добиться, имея дело с русскими. Американцы спорят между собой о том, действительно ли Советский Союз намерен завоевать мир любой ценой и можно ли каким-то способом сделать его более миролюбивым, о том, можно ли хоть в чем-то "верить русским". Американцы расходятся в мнениях, стоит ли искать разгадки советского могущества, сдерживать его, обхаживать его или найти способы сосуществовать с ним, опираясь на общие интересы.

Эти споры в какой-то мере отражают различия в характерах их участников. Но в значительной степени они выросли на почве прежних восприятий Советского Союза, которые едва ли не полностью опровергнуты последующими событиями, а также тем, что мы видим сегодня собственными глазами. Собщая с большей или меньшей правдивостью факты о советском обществе, Горбачев помогает каждому из нас разобраться в том, что же было неправильного в наших представлениях о его стране.

Не надо спешить с этим пересмотром. Советский Союз все еще остается — и останется — могущественной державой. Его лидеры, как и раньше, больше думают о расширении советского влияния, чем о сохранении международной устойчивости. Они осторожны, консервативны и все еще враждебны миропорядку, который определяется Соединенными Штатами и международной капиталистической экономикой. Они воспользовались бы любой возможностью повысить свое влияние и ослабить наше.

Хотя они стоят сейчас перед тяжелыми внутренними проблемами, общество, которое подвластно советским лидерам, в обозримом будущем не рухнет и не будет коренным образом преобразовано. Оно, всего вероятнее, будет кое-как существ-

воват или даже постепенно исчерпывать ресурсы своего существования. Советская империя будет слабеет и даже, может быть, в конце-концов развалится, но все это будет происходить очень медленно.

Но даже в этих условиях одна и при этом главная особенность советского облика, сыгравшая определяющую роль в эпоху холодной войны, уже развеялась. И это исчезновение не сопровождалось звоном фанфар, которого оно заслужило.

Горбачев все чаще говорит своим товарищам о том, как скверно обстоят их дела, как непродуктивно они работают и как вредна их привычка находить себе самооправдание. О том же, в сущности, говорит и президент Рейган, когда во многих своих выступлениях ссылается на бедственное положение советской экономики и объясняет неотложную необходимость для советских руководителей как можно скорее заключить соглашение о контроле над вооружением. При этом кардинальное обстоятельство нашего времени состоит в том, что Советский Союз оказался неконкурентоспособен по сравнению с развитыми западными обществами. И нет никаких признаков, что положение изменится к концу двадцатого столетия или даже позднее.

Могут возразить, что советская экономика никогда не была конкурентоспособна в обычном смысле этого понятия. Ее единственным впечатляющим достижением было создание устрашающей военной мощи. Однако правда о советской системе всегда была менее важна для Запада, чем угрозы, которые постоянно эта система источала, — угрозы построить лучше организованное, более производительное и эффективное человеческое общество, которое в конечном счете окажется более привлекательным для народных масс, чем западная модель. Такова была первоначальная угроза большевизма. Эта же угроза вынудила американцев после запуска "Спутника" мобилизоваться, чтобы первыми высадиться на Луне и вступить на стезю гонки ядерных вооружений.

Когда Хрущев сулил нас похоронить, это не было вздорным хвастовством: мы знали, что он в это верит и опасались, что он попытается это осуществить. Но уже при следующем

поколении Советский Союз утратил притягательность не только для Западной Европы (где после войны мы больше всего опасались роста его влияния), но даже и в странах Третьего мира, где Хрущев рассчитывал закрепиться наверняка.

На глазах одного поколения стена таинственности, окружавшая прежде Советский Союз, начала давать трещины и наконец развалилась: вышли наружу факты. Сталину удалось модернизировать отсталую страну, мобилизуя ее силы вокруг нового в то время политического движения. Но творение Сталина вышло таким громоздким, таким давящим, что оно оказалось просто неспособным воспользоваться плодами, созданными талантом советского народа.

Эта возможность увидеть Советский Союз отчетливо таким, как он есть, вызывает необходимость откорректировать наши представления о том, чем он может быть опасен. Если масштабы нашего соперничества не столь значительны (как это считали прежде), если борьба идет вовсе не за господство в мире, а за мелкие сдвиги в сферах влияния Востока и Запада, то одержать верх в таком соревновании гораздо легче, чем казалось прежде.

Но облегчение наступит не сразу. Упорство — одна из главных особенностей советской политики. Нам предстоит еще долго на это наталкиваться. Нет никаких оснований ожидать, что Горбачев или его наследник станут более сговорчивыми и обнаружат готовность удовлетвориться сложившимся "статус кво". Советский Союз по-прежнему стремится к тому, чтобы играть активную роль в современном мире и удерживать за собой положение сверхдержавы. Он будет упорно выдвигать вопросы собственной "безопасности", которая парадоксальным образом оборачивается отсутствием безопасности для нас. Северин Бялер отметил, что Советский Союз расширил свои определения таким образом, что его "безопасность во все возрастающей степени включает в себя сохранение его международного статуса".

Горбачев внес живую струю, новый стиль в советскую внешнюю политику. Спустя много лет советские деятели начинают, наконец, проявлять известное умение в обращении с общественным мнением. Это может со временем способствовать

тому, что Запад будет воспринимать СССР с большей симпатией, чем теперь, и это, в свою очередь, породит трудности для американских стратегов. Встреча Рейгана и Горбачева могла принести или не принести прогресс в области контроля над вооружением, но она, несомненно, предшествовала более интенсивному наступлению советской дипломатии, чем мы к этому привыкли.

Но если даже наперекор всем нашим ожиданиям инициатива Горбачева в его внутренней политике окажется невероятно успешна, все равно Советский Союз останется относительно бедной и отсталой страной. Он не превратится во внезапного конкурента передовых обществ Запада или Азии. Не станет он и угрозой, которая некогда нас так пугала, — неким новым вариантом Третьего рейха, рвущегося к мировому господству.

Если, как это представляется в данный момент наиболее вероятным, "перестройку" Горбачева ждет неудача, он (или его наследник) может снова возродить атмосферу холодной войны, чтобы таким образом отвлечь внимание от пережитой неудачи. Будущие советские лидеры могут пойти на то, чтобы усилить у собственного населения ощущение осадного положения, и тем самым оправдать в его глазах ужесточение контроля над обществом. Такого рода перемены, конечно, наименее желательны, но они породят трудности не только для нас, но и для них самих. В возрожденной атмосфере холодной войны увянут горбачевские улыбки, но все пороки и слабости страны останутся.

Сама идея, что Советский Союз, при всей своей враждебности и амбициях, не в силах реализовать собственные надежды встретит на Западе значительное сопротивление. Мы сами многое вложили в создание психологии холодной войны, в представление о неизбежности схватки двух гигантов. В американской политике эти настроения господствуют еще со времен Джозефа МакКарти, если не раньше.

Михаил Горбачев предоставил нам возможность изменить наши привычные представления о конфронтации между Востоком и Западом. Как он сам признал, перед нами уже не схватка равносильных гигантов. Но нуждались ли мы в его откровенности, чтобы понять, как глубоки слабости Советского Союза, сколь неблагоприятны тенденции развития этой страны?

ВРЕМЯ И МЫ

НЬЮ-ЙОРК - ИЕРУСАЛИМ - ПАРИЖ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА

ЗА 11 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С № 1 ПО № 93

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б.Иошуа и многие другие.

Среди авторов журнала — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Маразмин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Оз, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала "Время и мы" связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Огромной популярностью у читателей пользуется раздел "Из прошлого и настоящего", где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л.Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милокова, дневники Ольги Берггольц. Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1186 дол.

Для подписчиков — скидка 15 %

Тот, кто приобретает комплект журнала, в качестве подарка получает полный комплект книг издательства "Время и мы",

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue,
Leonia, NJ 07605, USA.

ГОРБАЧЕВСКАЯ УТОПИЯ НА НИВЕ ЮСТИЦИИ

Вокруг одной статьи в "Литературке".

Предлагаем вниманию читателей опубликованную в "Литературной газете" статью А.Ваксберга "Правде в глаза". Формально тема статьи — "Перестройка советской юстиции". На самом деле, она о большем. По существу, перед нами рассказ о сегодняшней советской жизни, своего рода комментарий к роману Виктора Астафьев» "Печальный детектив", где автор показывает, каким ужасом и безысходностью проникнута жизнь советского человека. Статья А.Ваксберга в этом смысле — безусловно ценное свидетельство, свидетельство из первых рук. Но прочитав ее, мы ставим перед собой и другой вопрос: чего могут и чего не могут себе позволить советские реформаторы, о чем может и о чем не может писать советский журналист. Раздумьям на эту тему посвящен редакционный комментарий к статье Ваксберга.

ПРАВДЕ В ГЛАЗА

Пишу под впечатлением только что закончившегося пленума Верховного суда СССР. Пишу сразу, без передышки. Хотя надо бы передохнуть. Собраться с мыслями. Обдумать не торопясь.

Но, как известно, дорога ложка к обеду. Боюсь, к "обеду" мы и так опоздали. Надо скорее сделать все наши боли, ошибки и упущения предметом широчайшего гласного обсуждения. Фактом общественной жизни, общественного сознания. Ибо вопросы законности и правопорядка касаются всех. Не в образном — в буквальном смысле этого слова. Гарантия прав гражданина — не декларативная, а реальная — это всегда краеугольный камень демократизма и справедливости. "... Чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден". Таково требование к органам правопорядка, закрепленное Основами уголовного судопроизводства.

Дело за малым: чтобы это "чтобы" осуществлялось в действительности. Этому как раз и был посвящен последний пленум Верховного суда СССР.

* * *

Он начался вступительным словом председателя высшего судебного органа страны Владимира Ивановича Теребилова, напомнившего о том, что пленум собрался сразу же вслед за принятием ЦК партии постановления "О дальнейшем укреплении социалистической законности и правопорядка, усилении охраны прав и законных интересов граждан". Постановление подчеркивает: в работе судов, как и во всех сферах нашей государственной, общественной, хозяйственной жизни, нужна перестройка.

Тон обсуждению сразу же задал докладчик — заместитель председателя Верховного суда СССР Евгений Алексеевич Смоленцев. "При оценке работы судов, — сказал он в самом начале острейшего своего доклада, — на протяжении многих лет считалось, что в основном все обстоит благополучно, имеются лишь отдельные недостатки. Но так ли это на самом деле?" Вопрос, на который и сам докладчик, и ораторы, выступавшие в прениях, пытались дать неуклончивый, точный и обстоятельный ответ, определил всю атмосферу четырехдневной дискуссии.

Не вводили ли мы в заблуждение сами себя? Говоря строго, вряд ли надобно ставить в конце этой фразы вопросительный знак и пожимать плечами в наивном неведении. Теперь, после апрельского Пленума и XXVII съезда, о "приписках" и "недописках" в разных сферах жизни сказано честно, открыто и веско.

Не составляет, увы, исключения и такой болевой "участок", как правосудие: здесь тоже порой кое-где закруглялись углы, закрывались глаза и смягчались акценты. И получалось, что преступность у нас пускай и не очень стремительно, но зато неуклонно снижается, падает, вот-вот совсем упадет, если только усилить, поднять и добиться...

Любая ретушь реальности опасна и даже губительна — в правосудии она опасна вдвойне и втройне. Ведь речь идет о том, что так зримо оказывает влияние на всю нашу жизнь. Об использовании могучего аппарата власти для решения живой человеческой судьбы. "Отдельные недостатки" и следует исправлять как отдельные. Явление требует совсем другого подхода.

В докладе было сказано сухо и выразительно: и преступность, и судимость (читатель, надеюсь, понимает, что показатели преступности и судимости не обязательно совпадают) в последние годы росли, причем рост этот применительно к таким особо чувствительным для общества преступлениям, как крупные хищения и получение взяток, весьма впечатляет.

Докладчик, естественно, говорил совсем не так обтекаемо, он привел конкретные цифры, но я, к сожалению, их назвать не могу: судебная статистика все еще остается закрытой. Положение это в условиях гласности выглядит странно. Об этом не раз говорилось, и я убеж-

ден, что вскоре традиционные страхи уступят место доверительной деловитости: правды незачем бояться, как бы горька она ни была.

Но вот что меня смущает: когда статистика будет открыта, получим ли мы точные цифры, отражающие именно те тенденции и симптомы, к которым необходимо привлечь общественное внимание? Цифры обладают удивительной способностью жить обособленной жизнью, ими можно проиллюстрировать все что угодно, и только очень глубокий анализ хорошо осведомленных людей позволяет выбраться из арифметических джунглей на правильный путь.

Что скажут нам цифры судимости, если раскрываемость преступлений была все эти годы совсем не на том уровне, какой представляли ее в ликующих рапортах иные криминалисты? Что скажут нам цифры преступности, если регистрация преступлений стремилась "не портить" общих радужных показателей, суливших премии и ордена?

"Индекс" преступности ныне круто взметнулся. Но пугаться этого не надо. Я бы скорее возликовал. Ведь теперь, когда повсеместно объявлен бой показухе, регистрация и на этом участке стала близкой к действительности, что не могло не внести коррективы в сводки судебной статистики. А любая правда лучше розовой лжи.

Новые цифры дали возможность докладчику взглянуть по-новому на положение дел и прийти к весьма осторожному, но честному выводу: судебных ошибок не становится меньше.

Здесь мы входим уже в круг проблем, имеющих прямое отношение к сфере деятельности органов правосудия. Влиять на уровень и структуру преступности суды могут лишь косвенно: среди множества причин, ее порождающих, плохое судейство вряд ли занимает главное место. Но вот обеспечить законность при рассмотрении дел — это их долг.

* * *

Заметное место и в докладе, и в прениях занял предметный анализ одного, но зато поистине вопиющего дела — о нем много писалось в центральной печати: за совершение тягчайших преступлений 14 человек в Витебской области понесли наказание. Тоже, конечно, тягчайшее. А несколько лет спустя оказалось, что осуждены абсолютно невинные люди: все преступления в одиночку совершил злостный рецидивист.

Что же скрывается за столь кошмарной судебной "ошибкой"? Рокковое стечение обстоятельств? Некомпетентность юристов? Противоречивость улик, в которой никто не сумел разобраться?

Нет — откровенное беззаконие ради самых ничтожных и шкурных целей.

Сначала местные пинкертонеры — по невежеству своему и полной профнепригодности — не могли раскрыть злодеяний, всколыхнувших целый район, целую область. Руководство, над которым было свое руководство, между тем грозило: раскрыть, а иначе?..

В обещании кар за опаснейшую беспомощность я, признаться, лиха не вижу. Трагедия в том, что под словом "раскрыть" имелось в виду, конечно, "закрыть". То есть, иначе сказать, исключить дразнящую строчку из реестра нераскрытых преступлений. Любой ценой — исключить!

Как ее "исключили", ату строчку, догадаться нетрудно. "Можно представить себе, — сказал докладчик, что творилось на следствии, как в буквальном смысле выбивали признания у невинных людей, если все четырнадцать привлеченных оговорили сами себя!.."

Высший судебный форум, к его чести и принципиальности, не пошел по легкой стезе. Он не стал клеймить пинкертонов, породивших дутое дело (они уже наказаны в уголовном порядке), — он решил разобраться в том, что касалось собственно правосудия: как же судьи, притом судьи верховные (кассационные и надзорные жалобы "проверял" Верховный суд Белоруссии), позволили именем государства назвать истиной очевиднейшее вранье?!

Ведь подсудимые не просто отказались в суде от своих вынужденных признаний — рассказали подробно, как и почему эти признания появились.

Но судьи сочли их рассказы поклепом на следствие.

Подсудимые просили открыть лежащие перед судьями тома дела и убедиться во множестве фальсификаций, скромно именуемых ныне "процессуальными нарушениями". Но судьи сочли их просьбы попыткой уйти от ответственности.

Вот какой примечательный диалог прозвучал на пленуме. В прениях выступал председатель Верховного суда Белоруссии А.А.Зданович. "Как все-таки сами судьи, — спросил оратора В.И.Теребилов, — теперь, когда истина полностью раскрылась, объясняют свою слепоту?" "Они поверили материалам предварительного следствия", — таким был ответ.

Абсолютно беспринципные люди — назвал этих судей В.И.Теребилов. И был, пожалуй, в своей оценке еще не слишком суров. Ибо я признал бы этих беспринципных людей, облеченных властью казнить или миловать, нарушителями закона, вынесшими заведомо неправосудный приговор. **З а в е д о м о** неправосудный, поскольку, как теперь установлено, подделки, подтасовки и прочие "шалости" фальсификаторов были для всех очевидны: они, как было сказано на пленуме, "бросались в глаза".

"Ну и сколько же уголовных дел, — спросил у оратора В.И.Теребилов, — возбудили суды против работников правоохранительных органов, повинных в этих действиях?" Ответ был краток и красноречив: "Ни одного".

Почему столь подробен рассказ об этом уже и так нашумевшем деле? Не только потому, что о нем говорилось много на пленуме. Просто здесь, как в фокусе, сошлись типичные пороки судейства, приводя-

щие к тягчайшим человеческим драмам и представляющие угрозу законности, а значит, и обществу в целом.

Говорилось, кстати сказать, на пленуме и о деле, случившемся в Латвии, где была сходная ситуация: серия нераскрытых убийств; непричастные к этим событиям люди. И судьи, бесстрастно проштамповавшие обвинительный приговор за одно из них...

Когда велось следствие — уже о том, кто и как состряпал дело против невинных людей, — была вызвана на допрос народная заседательница В.Буткевича, инструктор производственного обучения Рижского электролампового завода. В.Буткевича была среди подписавших этот приговор, и следователь, естественно, спросил ее: "Вы слышали, как подсудимые объясняли, почему им пришлось на следствии оговорить самих себя. Неужели вам не захотелось проверить: а вдруг они правы? а вдруг они признались под давлением?" Свидетельница (заседатель, как видим, превратился в свидетеля) простодушно удивилась: "Кто же признается в преступлении, если его не побить?"

Диалог этот оказался невысказанным, невозможным. Но больше не кажется... А вот то, что человек с такими судейскими "установками" продолжает оставаться народным заседателем Верховного суда республики, — может ли это не вызвать тревогу?

От любого суда мы всегда ждем объективности, внимания к доказательствам, скрупулезности в соблюдении наших законов.

А от Нижегородского районного суда Крымской области, рассмотревшего дело Грызлова, — чего было ждать от него? Об этом деле подробно рассказал участникам пленума Е.А.Смоленцев.

Грызлов "признался" на следствии в тягчайшем из преступлений — убийстве отца. Суду он объяснил, как это признание у него было вырвано, дал оценку "уликам", ни одна из которых не совпадала с другой, обратил внимание на грубейшие нарушения следствием его законных прав. Приговор, однако, был предрешен — Грызлов разговаривал с глухонемыми.

Компетентные органы республики отклонили его жалобы. Тогда мать Грызлова — вдова убитого — провела сама свое личное следствие. Мне не хочется брать это слово в кавычки — то было действительно настоящее следствие — можно ли представить себе, каких сложностей и каких мук оно стоило ей. Усилия не пропали даром: она нашла не выдуманных, а истинных убийц. Нашла — и убедительно доказала: убийство совершили два других человека. При последующей проверке, приведшей к отмене неправосудного приговора, все ее выводы подтвердились. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих...

Ну и что же — пострадали в итоге глухонемые? Как бы не так!.. Докладчик сообщил пленуму, что за необоснованное осуждение невинных людей в масштабах страны наказан (выговор, в редких случаях — перемещение на другую работу) лишь один судья из десяти. Нижегородская Фемида счастливо оказалась в "девятке".

Не перечислением удручающих фактов, не потребностью в справедливом возмездии за нарушение служебного долга был озабочен прежде всего высший судебный орган страны. Понять причины, приводящие к беззаконию, — вот к чему он стремился.

* * *

Назову причины, которые пленум счел самыми типичными, самыми тревожащими — именно они, каждая в отдельности, а то и все вместе, в своей совокупности, приводят к трагическим последствиям, именуемым впоследствии "судебной ошибкой".

Причина первая: застарелая болезнь так называемого "обвинительного уклона". В переводе на язык житейский, доступный непосвященному, это означает: приступая к рассмотрению дела, суд привычно исходит из презумции виновности подсудимого (вспомним ходкое выражение полувекковой давности: "Зря у нас не сажают"), который нередко обретает в лице суда не объективного исследователя, стремящегося постичь истину, а второго обвинителя, чья главная мысль — уличить. Если уж попал человек в суд, утверждал, выступая на пленуме первый заместитель Генерального прокурора СССР Н.А.Баженов, то доказать ему свою невинность нелегко. Наблюдение точное, хотя и печальное, а мне подумалось: "Зачем вообще подсудимому что-то доказывать? Ведь по закону обвинение должно доказать его невинность". Истина азбучная, просто школярская, так — по закону, так — по теории, а вот на практике, от которой только и зависит судьба человека, почему-то выходит наоборот.

Причина вторая, вытекающая из первой: слепая и безоговорочная вера предварительному следствию. Не суд с его демократическими гарантиями, а следователь за плотно закрытыми дверями служебного кабинета решает фактически исход уголовного дела. Чем же тогда занимается суд? Переписывает обвинительное заключение? Освящает своим авторитетом выводы следствия? Или проще сказать, создает видимость правосудия?

Причина третья, вытекающая из первых двух: нежелание иных судей вникнуть в суть, в содержание дела: сопоставить доказательства, устранить противоречия, удовлетворить заявленные ходатайства. Главное же — прислушаться к заявлениям подсудимых о нарушении законности при расследовании дела. А тем более о таком нарушении, которое само — преступление.

Причина четвертая, вытекающая из первых трех: торопливость, суетливая нервность при рассмотрении дела. Длительность судебного процесса определяется сплошь и рядом не подлинными потребностями досконального и тщательного анализа, а предустановленными временными рамками: умри, но уложись, ждуть очереди другие дела — этакий

своеобразный план "по валу", как ни абсурдно это звучит. Если существует какая-то сфера деятельности, где спешка попросту говоря, общественно опасна, то деятельность судебскую я поставил бы на первое место.

Причина пятая, вытекающая из предыдущих: "процессуальное упущенчество". Иначе говоря, пренебрежение законом, регламентирующим порядок рассмотрения дела. Все то, что за многие века отобрала правовая мысль как средства защиты от предвзятости, ошибок, случайностей как гарант постижения правды — все это побоку, словно ничемную ветошь: точность судебного протокола, педантичное соблюдение всех прав подсудимого, обеспечение защите реальной возможности осуществить ее полномочия, осознание простейшей и непреложной, но столь ненавистной невежеству истины — без уважения к адвокату, без проверки прочности обвинения доводами защиты нет вообще правосудия в истинном смысле слова.

Вспомним, сколько написано у нас про то, что "исчез" оправдательный приговор — это мощнейшее средство правового воспитания, наглядного утверждения судебской беспристрастности и добросовестности. Вместо публичного акта прилюдной реабилитации невинного, дающего пострадавшему какую-то моральную компенсацию за унижения и страдания, которые он перенес — стыдливое "кабинетное" прекращение дела в прокуратуре после возвращения его судом на бессмысленное "доследование".

Об этом много писалось, но последствий писания наши никаких не имели. Посмотрим теперь, что сказано об этом с трибуны пленума. Число оправдательных приговоров по стране совершенно ничтожно. Оно в 78 раз меньше, чем число "возвращений к доследованию". Цена же этому такова: каждое шестое "возвращенное" дело прекращается производством. Стало быть, многие тысячи людей, чья виновность в суде не была установлена (а неустановленная виновность, как мы знаем, это установленная невинность), еще униженно что-то доказывали, еще ждали решения своей участи — иногда месяцами и даже годами. И наконец получали бумажку...

Другая грань проблемы — ставка на суровость наказания. Обывательское представление об этой мнимой панацее в борьбе с преступностью упорно поддерживалось иными судами. Правда, за последнее время применение такой далеко не всегда целесообразной меры наказания, как лишение свободы, сократилось. Но вот посмотрите, до какого абсурда может дойти отнюдь не безобидная ставка на суровость.

В Орловской области за тайно взятые из погреба тещи две банки огурцов домашнего засола "вор" был осужден на полтора года лишения свободы. В Уральской — другой "вор" схлопотал полноценных два года, не возвратив приятелю в срок солнцезащитные очки...

Вот бы узнать, сколько в этих областях и в это же время недосчита-

лась скамья подсудимых мздоимцев и расхитителей, хулиганов, спекулянтов и клеветников. Гоняясь за мнимыми преступниками и обрушивая на них карающий меч, врагов подлинных и опасных упускают: эта закономерность исключений не знает.

* * *

Наказание тех, кто повинен в неправомерных решениях, — дело, разумеется, необходимое, но ведь само по себе оно ничего не решает. Участники пленума размышляли над тем, как гарантировать в будущем избавление от этих пороков.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР А.М.Филатов, председатель Военной коллегии генерал-лейтенант юстиции Г.И.Бушуев и другие ораторы отметили плохую (мягко скажем) работу с жалобами на различных ступенях судебной "лестницы". Всего-навсего на девяти жалобах из каждых ста появляется резолюция: "Истребовать дело".

Начальник Главного следственного управления МВД СССР В.Г.Новиков говорил о невысокой квалификации работников следствия, об отсутствии у них жизненного опыта, профессиональных навыков и даже элементарных знаний.

Присутствуя на заседаниях пленума уже многие годы, я впервые услышал с этой трибуны слова о том, что без уважения к личности, без сострадания и милосердия не может быть ни законности, ни справедливости. Вспоминали о классической работе А.Ф.Кони "Нравственные начала в уголовном процессе". Есть у нас хоть что-то подобное в программе юридических вузов? Где человековедение? Психология? Судебная этика? Где непреложный критерий отбора для занятия судебской работой по человеческим, а не формально анкетным данным?

Мировоззренческие, моральные, душевные качества юриста — только они могут служить надежным барьером, ограждающим судей, чья независимость провозглашена Конституцией, от любых посторонних влияний. Судья, получающий указания по конкретному делу от местных и прочих начальников, — фигура нелепая, жалкая и трагическая. Конечно, все мы люди, и ничто человеческое не чуждо судье, точно так же, как любому из нас. Но, видимо, неотъемлемой частью работы на этом посту является риск поплатиться карьерой за свою неуступчивость, за верность закону. Это все-таки лучше, чем риск быть повинным в растоптанной чьей-то судьбе ради карьерного благополучия.

Заместитель начальника отдела Министерства юстиции СССР Л.В.Николаев сообщил пленуму, что в иных совещательных комнатах есть прямая селекторная связь с руководством района для "экстренного совета".

Гласность! Вот о чем во весь голос говорилось на пленуме. Общественный контроль за работой всех правоохранительных органов! Су-

дов, прежде всего: ведь принцип гласности это один из важнейших принципов судопроизводства.

Но всем ли она по душе, эта самая гласность? Привыкли давать "ценные указания" — тем вряд ли... Получающим указания и живущим за широкой спиной — им тоже. Ну, а "выбивателям"... При гласности ничего не "выбьешь": всегда на виду. Недавно студенческая научно-исследовательская лаборатория Всесоюзного заочного юридического института под руководством доцента М.А.Федотова провела анкетирование столичных судей. Лишь 64 процента опрошенных считали, что гласность судопроизводства способствует отправлению правосудия. И это в Москве! А на вопрос, "способствует ли повышению правосознания публикация материалов о практике работы судов?", ответило "да" менее половины опрошенных.

За этими цифрами только ли мнение? За ними, увы, поведение. Это те, кого раздражает гласность, нервнует присутствие в зале суда представителей прессы ("нервнует", "раздражает" — именно так, не стесняясь, отвечали иные судьи), это они приписали себе странное право запрещать кому бы то ни было делать в блокноте пометки по ходу процесса. И даже возомнили, будто, нарушая личную свободу гражданина, могут эти записи отобрать.

Пленум был вынужден записать в своем постановлении: гласность судопроизводства гарантирует любому и каждому в зале суда делать любые пометки... Каким же должен быть уровень правосознания, да и просто правовой грамотности судей, чтобы правила юридического ликбеза специально оговаривались и растолковывались в столь ответственном документе!

С какой стороны ни взгляни, все упирается в кадры. Это убедительно показал член Верховного суда СССР Р.К.Бризе. Его доклад был посвящен практике применения судами прежних постановлений пленума по делам о несовершеннолетних. Наиболее сильное впечатление оставили у меня пассажи, где речь шла о профессиональном и культурном уровне иных судебных работников. О степени их педагогической и психологической подготовки. Горький смех вызвали отрывки из разговоров по делам о подростках: "обязать хорошо учиться", "запретить посещать театры", "ограничить пребывание на пляже"... А преступность в этой возрастной группе растет.

* * *

Бескомпромиссная самокритичность, твердое намерение навести порядок в своем хозяйстве, война самоуспокоенности, благодущию, пусканию пыли в глаза — вот что отличало работу этого пленума. И еще: современный взгляд и на общие задачи правосудия, и на каждое судебное дело в отдельности.

Аркадий ВАКСБЕРГ
(*"Литературная Газета"*)

ПРАВДА И ЛОЖЬ

ГОРБАЧЕВСКИХ РЕФОРМ

(Отредакции)

Приезжающие из СССР единодушно отмечают, что советские газеты стало интересно читать. Даже из "Правды" исчезает серая, безликая жвачка брежневских времен. На газетных страницах появилась живая информация, критика, разоблачения, сенсации, — словом, печать в СССР зажила совершенно новой жизнью, притом настолько для нее необычной, что в среде эмигрантских журналистов то и дело слышишь довольно мрачную шутку: "А не пора ли нам закрываться? Ей Богу, советские газеты интереснее!"

Так или иначе зарубежные издания все чаще обращаются к советским источникам. Появляются перепечатки из "Огонька", одного из наиболее острых горбачевских изданий, из "Московских новостей", редактируемых вечно опальным при Брежнев Егором Яковлевым, наконец, из "Литературки", где доживает свой век переживший целую когорту вождей Александр Чаковский.

Взятая из "Литературной Газеты" статья Аркадия Ваксберга может служить блестящим примером новых веяний советской печати. Живя на Западе, трудно поверить, что подобное, вообще, может появляться в советских газетах. Дело не только в самой статье, а прежде всего в предмете, которому она посвящена. Как видим, речь идет о советском судопроизводстве и законности, точнее, о новом подходе к этой проблеме со стороны горбачевского руководства. Именно этот "предмет" (а не смелость Чаковского или Ваксберга) и привлек внимание редакции. Ради него мы и решили перепечатать статью, из которой можно понять о сегодняшней советской ситуации куда больше, чем из многочисленных речей нового Генерального секретаря.

Нет смысла напоминать читателю, какую роль играли советские суды да и вся советская юстиция со времен революции и гражданской войны. ЧЕКА, НКВД, МГБ, ГПУ, Особые Совещания, 37-ой год... — по существу, весь Архипелаг

ГУЛАГ, от начала до конца, есть порождение славной советской юстиции. Однако на сей раз Пленум Верховного Суда решил заниматься не "политикой", а, так сказать, чисто правовыми вопросами: как обстоит в СССР с преступностью, как суды судят, какие выносят приговоры, как соблюдают законность, придерживаются ли норм демократии и справедливости. И хотя с "политикой", прямо скажем, не все ясно, но и такой подход кажется обоснованным и важным. Речь, в конце концов, идет о том, как на практике советский закон охраняет права граждан.

И вот впервые, может быть, за всю советскую историю, не из самиздата, не из книг Солженицына, а из официальных материалов Верховного Суда мы узнаем о вещах, тщательно скрывавшихся советской цензурой, — что преступность в СССР неуклонно растет (особенно воровство и взяточничество), что масса преступлений остается нераскрытой, что сплошь и рядом выносятся заведомо неправосудные приговоры, что угрозами и избиениями у людей выбиваются признания, что судьи пуще огня боятся выносить оправдательные приговоры, что на каждом шагу нарушается судебная этика, что при опросе 36% московских судей высказалось, вообще, против гласности судопроизводства (по-видимому, ностальгически вспоминая времена Особых Совещаний).

Если все это можно узнать из советской газеты, то в СССР действительно что-то происходит! Но что же именно? Какова цель горбачевской либерализации? Какова, так сказать, глубина пахоты? Вот вопросы, над которыми бьются западные советологи да и, вообще, западный мир, с затаенным дыханием наблюдая за происходящим в СССР.

Поспешные прогнозы всегда рискованны. Так что и мы не будем спешить с обобщениями. Попробуем лучше обратиться к фактам, к публикациям советских газет, да вот хоть к приведенной нами статье "Правде в глаза".

Тот, кто следит за "Литературной Газетой" знает имя московского адвоката Аркадия Ваксберга, одного из самых острых и талантливых публицистов "Литературки". Но на сей раз при всей остроте материала, а, может быть, как раз из-за

этой остроты мы чувствуем не только талант, но и осторожность автора. Осторожность и даже растерянность. Автор как бы сам растерян перед нарисованной им картиной. И, наверное, еще больше — перед задачей хоть как-то ее объяснить, раскрыть истоки происходящего в советской юстиции. Автор чувствует себя, словно на лезвии ножа, и дар публициста изменяет ему, — нет ни разящих фраз, ни ярких фактов, а один лишь невнятный лепет, взятый из какого-нибудь там "Блокнота агитатора". Оказывается, все дело в том, что судьи больны некой болезнью "обвинительного уклона", что довлеет над ними "слепая вера" предварительному следствию, что нет у них, видите ли, желания вникнуть в "содержание дела", что заражены они "процессуальным упрощенчеством", и потому налицо "пренебрежение законом" и "ставка на суровость наказания". По-видимому, чувствуя шаткость своих позиций, автор то и дело оговаривается, пытается что-то разъяснить, домыслить, прокомментировать, но дело так и заканчивается словесной эквилибристикой, — вглубь наш автор не идет. Не имеет права. Не может решиться, чтобы не сорваться часом с острия ножа.

Нам кажется, что статья Ваксберга, по-своему, типична для "эпохи гласности": называются недуги, которые, словно метастазы, обсыпали тяжелобольное советское общество, но о самой болезни умалчивается. Тут действуют непререкаемые классово-охранительские табу. Нарушить их не дано никому, в том числе и самому Горбачеву.

Вернемся на несколько строк выше и задумаемся: откуда это пренебрежение к закону, этот "обвинительный уклон", это желание во что бы то ни стало осудить человека? Послушать Ваксберга, это прямо-таки какая-то паранойя! Но оказывается "эту паранойю" не так уж трудно понять, если обратиться к истории, к нашему "легендарному прошлому", когда судебно-прокурорские работники, озаренные светом единственно верного учения, не знали всяких мелкобуржуазных колебаний насчет права и справедливости или какой-то там буржуазной судебной этики. Помните эти крылатые слова:

"По мере нашего продвижения вперед классовая борьба обостряется", и посему суд не судил, а, выполняя волю партии, подавлял классового врага, боролся с пережитками прошлого. "Расхититель социалистической собственности — классовый враг!", "Никакой пощады преступникам!", "Если враг не сдается, его уничтожают!" Не оттуда ли этот странный "обвинительный уклон" советских судов, — от славных времен Октября и гражданской войны, от доблестного ЧЕКА и железного Феликса, от сталинских пятилеток и процессов 37-го года, от "убийц в белых халатах" и "безродных космополитов"... Право же, есть что вспомнить новому руководству, если бы оно всерьез взялась за перестройку страны. Но вот как раз с прошлым Горбачев и его коллеги менее всего решаются сводить счеты.

Второй человек в партии, ее идеологический секретарь Егор Лигачев открыто предостерегает историков, чтобы не вздумали чернить путь, пройденный советским народом. Почему? Да потому, что разобраться в прошлом — значит разобраться в истоках, назвать вслух органическое заболевание, разъедающее советское общество.

Разумеется, на такой опасный для себя шаг, партия не может пойти — ни в области экономики, ни в области идеологии, ни в области науки и, конечно же, ни в области юстиции, перестройке, которой посвятила свое очередное выступление "Литературная Газета".

Когда Горбачев и советская пресса раскрывают пороки системы, трудно не видеть объективную пользу этих шагов. Идет необратимый процесс, и мы не можем не приветствовать его. В этом, собственно, и состоит правда горбачевских реформ. Но нельзя не видеть ограниченности этой политики, которую Запад все больше поднимает на щит. Называя болезнь, советские реформаторы умалчивают о ее происхождении. Провозглашенная Горбачевым гласность ограничена классовыми интересами партии. В этом страхе перед полной правдой и заключается ложь горбачевских реформ, о которой мы не слышим или почти не слышим на Западе.

Горбачев хотел бы соединить несоединимое: правду и ложь

создаваемой им структуры. Он хотел бы, чтобы плодоносили колхозные поля, чтобы не покладая рук трудились рабочие соцпредприятий, чтобы советские газеты писали правду и одну только правду, чтобы для советских судов были превыше всего были закон и справедливость. Принципиальная неосуществимость этих задач в стране с монополией власти — и есть главный источник противоречий, в которых суждено биться горбачевскому руководству. В этом, собственно, и состоит горбачевская утопия — создать демократическую структуру в рамках антидемократичной коммунистической системы.

Не случайно, многие западные наблюдатели пессимистически смотрят на будущее СССР. Если Горбачева ждет неминуемый провал, то, следовательно, неминуем приход к власти правых или, того хуже, неминуем хаос, последствия которого невозможно предвидеть. Такой вывод оправдан, если исходить из того, что ход советской истории полностью зависит от коммунистических правителей. На самом деле Россия — страна, плохо поддающаяся управлению. И тем более, прогнозам. На примере того же Горбачева мы видим, как события там, то здесь выходят из-под его контроля и, подобно морской стихии, выплескиваются из берегов. И потому сегодня трудно сказать, каковы будут последствия его реформ, и в каком направлении будут развиваться события, и что надо считать победой, а что поражением Горбачева.



Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

ТРИ ЛИКА ИЗРАИЛЯ

Пульс истории бьется в этой стране учащенно, пожалуй, учащенной, чем в других государствах мира. История здесь не едет на перекладных, а несется на всех парах.

Недавно разыгрался большой, международного масштаба скандал в Америке в связи с продажей оружия Ирану. Как мы знаем, в этой истории оказался замешан и Израиль, причем, самым активным образом. Затем прошли кровавые события в Иерусалиме, на Западном берегу Иордана и в Газе. Еще до этого на страницы мировой прессы просочились секреты атомной электростанции в Израиле. Я уже не говорю о проблемах новой экономической политики в стране: правда, удалось добиться стабилизации валюты, — но теперь все более остро встает вопрос о росте экономики, застрявшей на мерт-

вой точке. Все это и составляет сегодня предмет "забот иудейских", забот, заставляющих учащенно биться сердце страны.

1

Международное положение несколько укрепилось в результате вывода израильских войск из Ливана, сыграло свою роль и то, что предыдущий премьер (Шимон Перес — лидер партии Труда) развил мирную инициативу и оживил мирное соглашение с Египтом. Судя по всему, недалек тот день, когда Советский Союз, а с ним и весь советский блок вынуждены будут отменить бойкот Израиля и восстановить дипломатические отношения с ним.

Но дает ли все это основание для большого оптимизма? Среди опасностей, угрожающих сегодня стране, на первый план выдвигаются опасности внутренние. Из опубликованных в конце года официальных сообщений следует, что в течение 1986 года страну покинуло около пятнадцати тысяч человек, а прибыло лишь немногим более девяти тысяч. Нужно ли говорить, что это симптом серьезной болезни: страна, созданная для того, чтобы консолидировать евреев всего мира, явно теряет в их глазах притягательную силу. Многие из вчерашних жителей еврейского государства предпочитают жизнь в рассеянии. Почему же евреи оставляют Израиль? Нет сомнения, что здесь большую роль играют чисто экономические соображения. Высокоразвитые страны привлекают людей из стран с более низким уровнем жизни. Но действуют здесь и другие причины — и то, что еврейский народ — странник, "вечный жид", из поколения в поколение, взявши посох в руки, переходит из страны в другую, не находя себе приюта. Существует и другой фактор — и он, может быть, главный, — это моральная неудовлетворенность. Народ пророков стремится к нравственному совершенству и, если он его не достигает, сердце его гложет тоска — тоска по тому, чего нет на свете. Ведь уезжает из страны немало кибуцников, всем обеспеченных и получивших лучшее национальное воспитание.

2

На заре этого века зародилось движение "билуйцев"* — еврейской молодежи, стремившейся своим трудом завоевать Палестину для еврейского народа. Эти идеалисты определили собой первый лик Израиля. В те годы Палестина существовала в рамках Оттоманской империи. Позже, во время Первой мировой войны, была провозглашена Бальфурская декларация, обещавшая содействовать созданию в Палестине еврейского национального очага. Но во всех случаях судьбу еврейской Палестины решала еврейская молодежь, преимущественно из России и Польши, своим трудом закладывая основы еврейского государства "де-факто." Создавались еврейские поселения, прокладывались шоссейные дороги, строились города, фабричные поселки. За всем этим стоял х а л у ц, который был центральной фигурой догосударственного Израиля, и именно он наложил свой неизгладимый отпечаток на первый лик еврейского государства. Халуц был новым типом личности, который стремился избавиться от тяготевшего над евреем галута образа "луфтменша" (человека "воздуха", посредника и маклера), и завоевать свое место в мире собственным трудом. Он вел спартанский образ жизни, удовлетворялся минимумом благ и был счастлив превратиться в хлебопашца и каменотеса. Девизом этого халуцианского поколения было: "Самообслуживание" — осуществление идеала своими руками и предъявление требований только к самому себе.

Таким был первый Израиль, халуцианский Израиль, маленький идеалистический островок "Утопия", оказавшийся впоследствии лабораторией конструктивного социализма, который противопоставлялся кровавой революции в России.

Из этого халуцианского Израиля вырос потом Пальмах — боевые ударные дружины, вынесшие на себе всю тяжесть освободительной войны.

Лучший поэт современного Израиля Натан Альтерман впоследствии писал в стихотворении "Серебряное блюдо" о девушке и юноше, которые выйдут к народу, "молчаливо пройдут

*Еврейские студенты России конца 80-х годов.

они длинной тропой. Их одежда проста, башмаки тяжелы. Их тела не отмыты от копоти боя. Их глаза еще полны и молний, и мглы. Как устали они! Но чело их прекрасно, и росинками юности окроплено. Подойдут и застынут вблизи... И неясно, то ли живы они, то ль убиты давно. И народ, весь в слезах, спросит: "Кто вы? (И хором) скажут оба пришельца, в крови и в пыли: "Мы — то блюдо серебряное, на котором Государство Иудейское всем поднесли".

Это и было великое дело халуцианского поколения, записанное на скрижалях истории. Когда пробили час решения и перед Израилем стал вопрос — быть или не быть? — халуцианский Израиль сделал свой прыжок в неизвестность и вышел из этого испытания победителем, оплатив свою победу кровью.

Сперва сионизм был чистой утопией. Позже он оказался на грани между утопией и действительностью; мостом между утопией и действительностью и стало халуцианское поколение. Свою миссию оно видело в том, чтобы претворить мечту сионизма в действительность. Эту миссию халуцианское поколение выполнило с честью: Израиль стал фактом исторической действительности.

Талейран как-то сказал: "Кто не жил до 1789 года, тот не знает всей сладости жизни". Перефразируя эти слова, можно сказать: "Кто не знал первого Израиля, тот не знает сладкой горечи превращения идеала в действительность. Лик первого Израиля выступает как лик высокоморального, а может быть, и мученического, романтического и утопического Израиля.

3

Первому лику Израиля пришел на смену второй его лик в день создания еврейского государства. Тогда же родился и государственный сионизм, который, впрочем, сразу же начал увядать: государство переняло на себя все функции, выпадавшие в прошлом на долю сионизма. Он был теперь не у дел, его тело и организм оказались лишенными души. Это было очень глубокое изменение, которому сопутствовало перерождение

сионизма. Его внутренней пружиной была его вера в свою историческую миссию — освобождения еврейского народа. Теперь, когда цель была достигнута и появилось еврейское государство, вера эта выветрилась. Утрата былой веры и характеризует второй Израиль, отныне новая темная черта легла на его лик.

Первые годы, когда вновь созданное государство было еще кровно заинтересовано в народе, способном воссоединиться под его сенью, алия и ее абсорбция оставались в центре внимания общества. В дальнейшем государство стало куда больше интересоваться своими текущими заботами, отодвинувшими алию на задний план. Это был настоящий переворот, чувство освободительной миссии было потеряно. Звучит это парадоксально: еврейское государство было порождено сионизмом, но оно же и выхолостило содержание сионизма.

Вторая черта, отличавшая второй Израиль, — его новый государственный облик. Если до того он держался в основном на добровольческих началах, когда каждый добровольно вносил свою лепту в общее дело, то теперь была введена обязательная воинская повинность, обязательные налоги и многие другие законодательные меры во всех областях жизни. Добрая воля пионеров-халуцим, на которую опирался Израиль, тонула в принудительных функциях государства. А само государство выступило в роли кумира и самодовлеющей ценности. Прелесть самоотдачи была потеряна. Это и стало первой ступенью деморализации общества, наступившей позднее. Вторая ее ступень была вызвана приливом и абсорбцией массовой алии в начале 50-х годов. Сама по себе эта массовая иммиграция была героическим актом, продолжавшим традицию первого Израиля. Но это была иммиграция из отсталых стран Азии и Африки. Между образом жизни и уровнем культуры населения Израиля и прибывших иммигрантов пролегла пропасть. Отныне изменилось само демографическое лицо Израиля. Создалась постоянная напряженность в отношениях между старыми и новыми гражданами страны. Неизбежный переходный период расселения новых эмигрантов в бараках и палатках оставил глубокую травму в их сознании. Эта напряженность отношений стала источником постоянных трений,

конфликтов и даже враждебности, которая тяжело влияла на мораль Израиля.

Облик Израиля начал радикально меняться и по другой причине: общество, состоявшее преимущественно из трудящихся классов (земледельцев, кибуцников, наемных рабочих и немногочисленных средних слоев), начало быстро дифференцироваться. В ряды рабочего класса влились новые слои населения из восточных стран, лишенные всякого халуцианского сознания и оказавшиеся на нижних этажах общества. Создался новый довольно обширный класс полупролетариев: разносчики, мелкие торговцы, подсобные рабочие, лоточники и т.п.

С другой стороны расширился круг людей свободных профессий, в их контингент вливались все новые слои. Роль так называемых национальных фондов, которые субсидировали еврейскую колонизацию, падала. На место национального капитала приходил капитал частный. Государство, заинтересованное в быстром развитии экономики, всячески поддерживало частную инициативу. На этих дрожжах возшел класс израильской буржуазии, в руках которой оказались целые отрасли производства, экспорт и импорт, банки. Романтика сионизма была, по существу, изгнана из всех уголков страны.

Падение Бен-Гуриона и восхождение Леви Эшколя означало, что героический период в истории сионизма и Израиля закончился. Вместо него пришли серые будни, эпоха "малых дел". Дух первого Израиля, народа, стремящегося к избранничеству, к тому, чтобы стать "Ам сгула" (народом, наделенным высшими моральными качествами), покинул страну. Не случайно именно в этот период, в начале 60-х годов, весь Израиль бушевал вокруг так называемого "Дела Лавона" (диверсия израильтян в Египте с целью испортить отношения между ним и Америкой). В этом деле на первом плане выступала интрига (кто дал указание совершить эту диверсию?), а не политическое благоразумие и интересы государства. С другой стороны вчера еще массовая алия теперь просачивалась в страну лишь тонкой струйкой, и Израиль таким образом лишился живительных соков, своей питательной почвы, — жи-

вой связи с мировым еврейством. Еврейское государство не может существовать как отрезанный ломоть еврейства. Особая израильская нация — это выдумки досужих умов. Каковы бы ни были особенности израильской ветви еврейства, — а, конечно, они есть, — общие источники бытия, физического и духовного, неразрывно связывают Израиль с еврейством. Это не значит, что евреи всего мира должны сконцентрироваться в Израиле. После изгнания из своей страны (а есть историки, утверждающие, что и до изгнания) они неизменно оставались народом универсальным, космополитичным. Но теперь Израиль является важнейшим еврейским центром. И подобно тому, как еврейский народ универсален, — Израиль, будучи еврейским центром, сугубо национален. Эта взаимосвязь между еврейским национализмом и универсализмом несет в себе самые плодотворные начала, и когда она обрывается, Израиль остается как бы без притока свежего воздуха. Это произошло во втором Израиле, больше всего этим определяется его облик. Дух Израиля начал мельчать, "малые дела" покрыли густым туманом горизонты еврейского государства.

4

Чтобы понять ситуацию сионизма во времена второго Израиля, надо иметь в виду радикальные перемены, обозначившиеся к тому времени в еврейском мире. Прежде всего вспомним об уничтожении польского еврейства, которое питало своими соками еврейство всего мира. Отныне центр сионизма переместился в Америку с ее шестью миллионами евреев, где образовался крупнейший еврейский центр в мире. Но американский сионизм, в отличие от польского, не был "сионизмом претворения". Его идеология как движения национального освобождения в США не привилась, но и не могла привиться. Сионизм здесь получил окраску еврейской благотворительности, и это лишило его души. Дело осталось, но без веры дело мертво. Сионизм, внутренней пружиной которого была забота о расширении алии и еврейских позиций в стране, по-существу, сел на мель.

Честертон как-то сказал, что нет большего поражения, чем успех. Сионизм добился наибольшего успеха, какого только можно было ожидать, — он создал еврейское государство. Но по двум причинам этот успех оказался источником поражения. Во-первых, превративший идеи в реальность сионизм утратил свои высокие духовные стимулы. И во-вторых, когда утихли бури боев и улеглись страсти, выяснилось, что победа была только полупобедой. Сионизм не только не разрешил еврейского вопроса, но сам оказался зависим от помощи мирового еврейства. Диалектика истории была такова: претворение съело идею, идеальное превратилось в реальное, а реальность эта обернулась крохоборческим Израилем, которым и был второй Израиль.

В огне Шестидневной войны 1967 года родился третий Израиль, и этот Израиль существует уже 20 лет — половину, или даже больше половины времени, прошедшего со дня создания еврейского государства. Лик этого Израиля определяется оккупацией завоеванных арабских территорий. Это обстоятельство совершенно изменило лицо еврейского государства. Правда, формально Израиль не присоединил эти территории. Более того, партия Труда, составляющая теперь половину правительственной коалиции, заявляет, что Израиль не хочет и не должен господствовать над другим народом. Эта партия предлагает Иордании добиться взимоприемлемого соглашения на основе территориального компромисса.

Оккупацию арабских территорий в Израиле называют временной, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Временный характер оккупации, если и не опровергается, то, во всяком случае, ставится под вопрос фактом двадцатилетнего господства Израиля над завоеванными территориями. За это время выросло новое поколение и евреев, и арабов, которое не знает другого положения, чем то, что существует сегодня.

Надо принять во внимание и так называемую "ползучую аннексию", осуществляемую путем заселения оккупированных земель еврейскими поселенцами. И хотя этот процесс медленный, тем не менее уже теперь новые поселения насчи-

тывают около пятидесяти тысяч жителей, и согласно планам на ближайшие годы, цифра эта увеличится.

Вокруг вопроса о судьбе этих территорий и еврейских поселений в Израиле ведутся горячие споры. Крайние националисты требуют формального присоединения завоеванных земель к Израилю, считая, что они являются органической частью целостного Эрец Исраэль. Противоположный лагерь ссылается на то, что в случае присоединения арабское население Израиля достигнет двух с половиной миллионов человек против трех с половиной миллионов евреев. В результате Израиль утратит характер еврейского государства: арабы победят его изнутри и, хотя еврейские поселенцы не могут изменить этой пропорции, они тем не менее пользуются широкими симпатиями в стране. Причина достаточно очевидна: они возложили на себя корону романтиков-халуцов, заселяющих земли Израиля.

Некоторое время назад состоялся симпозиум, устроенный газетой "Давар", в котором приняли участие два представителя крайне религиозного лагеря "Гуш имуним", форсирующего заселение арабских земель, и два представителя кибуцов, отвергающих политику заселения (кроме заселения Голанских высот, долины Иордана и близлежащих к Иерусалиму мест).

На этом симпозиуме, по существу, выкристализовались противоположные позиции. Как стало ясно, "Гуш имуним" базируется на следующих двух пунктах: 1. Историческое право еврейского народа на весь Эрец Исраэль. 2. Миссия сионизма реализовать это право. Один из участников симпозиума раввин Левингер сказал: "Не мы начали Шестидневную войну, — нам ее навязали. И может случиться, что мы будем вынуждены вести другие войны. Может создаться положение, когда и другие районы Эрец Исраэль попадут в наши руки, и мы не сможем сказать, что не имеем никакого права на них. Цель сионизма состоит в том, чтобы реализовать это право". Это своего рода неомессианизм, вера в святость обетов, без какого-либо желания считаться с исторически сложившимся реальным соотношением сил. И далее, это — вера в мощь еврейского государства, которое в состоянии продиктовать свою волю арабскому окружению.

Представители кибуцов говорили о разрушительном влиянии оккупации на народ Израиля. Уже сегодня 110-120 тысяч арабских рабочих с оккупированных земель выполняют в Израиле разные работы. Причем на их долю приходится преимущественно "грязные" работы, тогда как раньше Израиль сам обслуживал себя и в действительности жил своим трудом.

Как всегда, определенные исторические ситуации создаются не по злой воле людей, а главным образом по стечению обстоятельств, имеющих объективный характер. Третий Израиль живет под знаком победы, которая создала трудноразрешимую ситуацию: с одной стороны, Израиль нуждается в границах, обеспечивающих его безопасность; с другой — арабский мир не соглашается — и вряд ли может согласиться — на какое-либо расширение границ еврейского государства. Положение осложняется еще и тем, что арабский мир (за исключением Египта), по-существу отказывается признать Израиль как особое еврейское государство в его границах 1967 года. Даже послевоенные границы 1948 года ставятся под вопрос.

В лучшем случае проявляется готовность признать Израиль в рамках раздела страны по решению ООН 1947 года с возвращением палестинцев в районы, заселенные теперь евреями. Вот почему многие в Израиле спрашивают себя: "Зачем же нам возвращать арабам завоеванные территории, если они все равно нас не признают?" Таким образом арабско-еврейский конфликт возвращается к своему исходному пункту — созданию еврейского государства на исторической родине еврейского народа, находящейся сегодня на территории арабского востока.

5

Подобные неразрешимые вопросы в истории решаются силой. Штыком разрубается гордиев узел. Но и этот путь закрыт для решения конфликта между еврейским и арабским народами.

Прежде всего из-за равновесия сил: арабский мир имел и

имеет колоссальный перевес с точки зрения демографической и геополитической; Израиль обладает превосходством качественным — в моральном, культурном и технологическом отношениях. Еврейский народ знал и продолжает знать, что его существование базируется на силе, что лишь его способность к обороне защищает его от падения в пропасть. И здесь перед нами основная, и моральная, и политическая, проблема, в которой, как белка в колесе, вертится Израиль: как отделить силу от насилия? Тут, разумеется, чрезвычайно важны пределы применения силы, но именно это очень непросто установить. Кстати; перед этой же трудноразрешимой проблемой оказывались все революции, которые знает история.

Третий Израиль стоит под знаком смещения этих понятий — силы и насилия. Война 1967 года стала переломным пунктом. Израиль, который перед войной пережил большие колебания, воспринял победу как доказательство превосходства своих сил и как способность диктовать свою волю. Характерна в этом отношении фраза Моше Даяна, произнесенная им после победы: "Мы ждем теперь телефонного звонка арабов, теперь их черед просить условий мира у Израиля". Этого, конечно, не случилось. Арабы не позвонили и не склонили своих колен, а, наоборот, подготовили новую войну, которая вспыхнула в 1973 году и застала Израиль врасплох.

Война Судного Дня вызвала большое замешательство в Израиле, но "Миф силы" не был разрушен. Народ, не знавший в течение двух тысячелетий, что значит пользоваться силой, теперь, познавши ее вкус, пытался построить свое существование исключительно на силе. К тому же и отказ арабского мира принять Израиль в свое лоно и признать его возвращение на свою историческую родину, толкал Израиль к силовой концепции. Увлечение силой в некоторых кругах Израиля дошло до того, что во время Ливанской войны в "Гуш имуним" раздавались голоса, призывавшие направить силы Израиля на то, чтобы навязать "еврейскую правду" всему Ближнему востоку и даже всему миру. В газете "Сынов Акивы" ("Семена") была опубликована статья раввина Дова Леора, в которой мы находим такие строчки: "Война доказала всему миру, что на

Среднем Востоке имеется только один народ, обладающий такой военной мощью, что может считаться державой. Искоренение гнезд зла это только начало процесса, который приводит в конце концов к искоренению зла в мире. Как доказала действительность, государство Израиль и есть эта сила в современном мире". Это лишь один из примеров мегаломании, которая владеет некоторыми умами в Израиле.

Наиболее ярким выражением этой мегаломании стала Ливанская война. С ее помощью Израиль рассчитывал установить "новый порядок" в Ливане при господстве христиан. Скандал с продажей оружия Ирану и участие Израиля в этой акции в надежде заполучить сторонников в правительстве Ирана отдают тем же духом мегаломании государства, мнящего себя мини-державой.

Возможно, этому способствует ментальность избранного народа, единственного сына у своего Бога, качественно превосходящего другие народы. Что не достает третьему Израилю — это сознания ограниченности своих возможностей. Первый и второй Израиль были значительно более скромными, они знали границы своей силы.

Шестидневная война 1967 года имела своим следствием и изменения в национальном сознании Израиля. Первый и второй Израиль принимали раздел страны как исторический неизбежный факт. Третий Израиль склоняется к тому, чтобы начисто перечеркнуть раздел страны.

Такова диалектика истории. Так называемый ревизионизм Жаботинского, ставка которого была на силу, всегда был только крайним течением в сионизме. В результате войны 1967 года он превратился в доминирующую, центральную силу сионизма в Израиле.

Вопрос о разделе страны на два государства и о целостном Израиле не является больше идеологическим вопросом. Теперь это вопрос экзистенциальный. Дело в том, что лозунг целостного Израиля содержит в себе внутреннее противоречие: три с половиной миллиона евреев сохраняют власть

над двумя с половиной миллионами арабов. Какое же это еврейское государство? Экзистенция прорывает здесь оболочку идеологии. Такое соотношение сил уже само по себе предрекает постоянные столкновения, а может быть, и гражданскую войну.

Следует обратить внимание и на характер силы Израиля, — он черпает силу в слабости. Находясь в кольце арабской враждебности, Израиль обязан быть сильным, чтобы сохранить существование. Слабость, таким образом, здесь оборачивается силой. Во время Шестидневной войны над страной нависла смертельная угроза. Израиль проявил огромную волю к победе, но эта воля ослабла во время Ливанской войны, которую Израиль инспирировал для изгнания ПЛО из Ливана. Эта диалектика силы и слабости ставит Израиль перед тяжелой дилеммой: уступить завоеванные территории — значит лишить себя важных стратегических пунктов обороны; продолжать удерживать эти территории — значит способствовать увековечению конфликта. Эти территории нужны Израилю для укрепления своей силы, но удерживание их разъедает эту силу изнутри.

Вот уже 70 лет со времени Бальфурской декларации еврейско-арабский конфликт держится на равновесии сил. Как мы уже говорили, качественное преимущество Израиля уравнивает арабское демографическое и геополитическое превосходство. Но разве так будет всегда? Да, арабы потерпели поражения в нескольких войнах, но эти поражения не могли их покорить. В свою очередь, Израилю достаточно потерпеть одно поражение, чтобы перестать существовать. Поэтому у этого внешне уравновешенного баланса существует лишняя равновесия подпочва, никакой симметрии в еврейско-арабском конфликте не существует. Израиль, несмотря на одеваемую им волчью шкуру, в чем-то остается ягненком, ставлять права на создание вооруженных сил, но в будущем и торый был поставлен одним из израильских журналистов, кто мы — осажденные или осаждаемые, — может быть только один ответ: "И осаждаемые и осажденные, но раньше всего и вопреки всему, — о с а ж д а е м ы е". *

*В последнем предложении — какая-то несогласованность (Д.Т.)

Бен-Гурион, которому Израиль прежде всего обязан созданием еврейского государства, сказал в свое время: "Будущность и миссия еврейского народа не могут основываться на штыке. Нас принудили сражаться, и мы будем сражаться, пока нам грозит опасность, но мы не будем строить своего будущего на войнах. Завтрашний день Израиля будет основываться на творчестве и труде, на новых поселениях в селах и городах, на строительстве, фабриках и земледелии, науке и технике, на развитии искусства и литературы, выражающих справедливость и правду, мир и всечеловеческое братство". Это, конечно, справедливые слова, но следует различать между сущим и должным: Израиль продолжает испытывать постоянную опасность войны, когда решающую роль играет не силовой фактор. Но из сказанного Бен-Гурионом вот что важно: Израиль черпает свою силу из своего качественного превосходства, а не из силы. И еще: борьба двух народов за обладание одной и той же страной в условиях равновесия сил не может продолжаться бесконечно. В конце концов восторжествует разумный компромисс.

7

Третий Израиль, образно говоря, — это ошестинившийся Израиль, не знающий что делать со своей победой, и потому — это и растерянный Израиль. Будущий лик Израиля допишет история.

Я не пророк и не оракул, чтобы брать на себя предсказание будущего, скрытого под густым туманом от нашего взора. Но из оценки сегодняшней ситуации напрашиваются некоторые выводы и относительно завтрашнего дня.

Третий Израиль отнюдь не един в своих воззрениях, большая (а может, и большая) часть народа отчаялась в возможности мира и опять же, как говорилось выше, рассуждает просто: арабы все равно ни при каких обстоятельствах не готовы идти на настоящее, искреннее соглашение с нами, так не лучше ли ошестиниться и на каждый удар отвечать двойным ударом? Другая часть народа готова к соглашению, но беда в

том, что, во-первых, призыв к компромиссу повисает в воздухе, и, во-вторых, компромисс, который хочет и предлагает часть общества, относится лишь к завоеванным территориям, часть которых Израиль хочет оставить за собой в интересах своей обороны. Могут ли арабы пойти на такой компромисс, если они не согласны даже с границами 1948 года? Палестинцы ведут террористическую войну против Израиля. Правда, она не угрожает его существованию, но каждый раз больно ударяет по нему. Но с точки зрения политической, эта война служит обратной цели: вместо того чтобы смягчить позиции Израиля, она их обостряет. Арабский террор вызывает еврейскую враждебность, а кое-где и ответный еврейский террор. Возникает вопрос, не идет ли еврейско-арабский конфликт к своему еще большему обострению?

С одной стороны, палестинские беженцы, взирающие с тоской на потерянную родину, а это неопровержимый факт, если даже справедлив еврейский аргумент: никто их не изгонял со своих земель (за исключением из ряда вон выходящих случаев). С другой стороны, еврейский народ, не имеющий своего угла на земном шаре, требует права на свою историческую родину, взирая с завистью на территории двадцать первого арабского государства. Голос, зовущий к примирению, тонет в динамике борьбы и конфликтов. Создается заколдованный круг: ни разум, ни сила не полагают найти выхода из положения.

В арабском мире, правда, намечается тенденция к признанию Израиля "де-факто", но пока мало надежд, что эта тенденция станет господствующей. Не говоря уже о том, что само признание "де-факто" имеет временный характер в расчете на лучшие времена. Между тем, перспективы на ближайшие годы не представляются в розовом свете. Причина, во-первых, в том, что арабское сопротивление на Западном берегу и в Газе будет нарастать и не исключено, что через какие-нибудь пять лет беспорядки на этих территориях будут обычным явлением. Другая причина в том, что Сирия готовится к войне, которая рано или поздно не может не вспыхнуть. В отличие от предыдущих, эта война распространится на тылы и нанесет

большие урны обеим сторонам. Надо надеяться, что Израиль устоит и в этой войне, но полученные раны будет не так легко залечить. Но с другой стороны, если Сирия будет разгромлена, то, может быть, это послужит отправным пунктом для поворота сознания арабского мира в сторону мира с Израилем. Вот тогда и родится новый, четвертый Израиль.

Пока же можно только обдумывать будущее мирное устройство. Как известно, в исторических границах Эрец Исраэль существуют три национальные единицы: израильская, иорданская и палестинская. Только добровольный союз этих наций может обеспечить мирное развитие Ближнего Востока. Для этого должна быть создана тройственная конфедерация, в которой не могут не занять своего полноправного места и палестинские арабы. Они должны получить право на свое национальное самоопределение, их национальная единица должна быть членом тройственной конфедерации, накладываемой известные ограничения на каждую из входящих в нее наций. На переходный период, для того чтобы обеспечить национальную безопасность Израиля, палестинцам не следует предоставлять права на создание вооруженных сил, но в будущем и это ограничение отпадет.

Чего не может достичь разум, то сделает время. Бесплодность применения силы приведет обе стороны — и еврейскую, и арабскую — к столу переговоров, где и будет формироваться будущий мир на Ближнем Востоке.



Ефим ЭТКИНД

ЗАБОТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕГО ГОДА

1. Из диалога скептика с оптимистом

Скептик. Они твердят о демократии. Почему я должен им верить? Ведь они остались теми же, кем были: их порядок — тотальный режим несвободы.

Оптимист. Да, они говорят о демократии, и говорят так же, как 50, 40 или 30 лет назад. Они произносят те же громкие слова о "правах человека при социализме". Их речи набили нам оскомину. Но происходит и нечто новое: не только звучат слова, но и совершаются действия, ведущие к изменению жизни.

Скептик. Действия ничтожны; речи же, как у них всегда, оглушительны. Если верить речам, людоед стал вегетарианцем.

Оптимист. А, может быть, людоед обожрался человечиною? Может быть, он понял, что ему угрожает гибель? И что надо изменить режим — во всяком случае, режим питания?

Скептик. Поздно менять что бы то ни было: никто не поверит, что это происходит всерьез и надолго. Один из пушкинских эпитафий в "Капитанской дочке" гласит: "В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп" ("Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?" — спросил он ласково...")

Оптимист. Скепсис — позиция выигрышная. В конечном счете скептик всегда прав. Но весной 1987 года одними сомнениями прожить трудно. События, обгоняя друг друга, опровергают отрицание.

Скептик. Какие же события? Все они относятся к прошлому. Эка важность: к столетию со дня рождения реабилитировали Гумилева! Беспочинно расстреляли, бессмысленно полвека то воспрещали, то почему-то позволили упоминать его имя, и вдруг все это решили забыть, воскресив убитого. Сами создали ситуацию трагического абсурда, а теперь сами же пытаются ее преодолеть, вернувшись к здравому смыслу. "В ту пору лев был сыт..." Но ведь рано или поздно лев проголодается.

Оптимист. Ты хотел бы убить льва? Война немислима. Да и можешь ли ты поручиться, что носорог или тигр, которые сменяют льва, будут лучше? Вегетарианцев на свете нет давно, а среди людоедов лев, может быть, наилучший: он дряхл и с годами поумнел.

Скептик. Это, пожалуй, вывод дельный. А как о том, что я назвал трагическим абсурдом?

Оптимист. Ты неправ насчет нашей истории. В культуре нет прошлого. Возвращение Гумилева к читателю — событие освободительное. Правда никогда не относится только к прошлому — от нее зависит и будущее. За кратчайший срок в Россию возвращены десятки поэтов, писателей, художников, мыслителей, без которых мы задохнулись.

Скептик. Образованные читатели и прежде их знали. Кого им открыли? Ходасевича, Волошина? Кто же их не читал?

Оптимист. Да, и Ходасевича, и Волошина. Русских читателей миллионы, и во всех концах страны они откроют для себя Серебряный век: это повлечет за собой духовное просветление, очищение, освобождение. Назовем тех, кто в последнее

время возвращен иа царства теней; кроме уже поименованных, это: Вяч. Иванов, С. Клычков, Н.Клюев, М.Цветаева — в полном объеме, А.Ахматова, Б.Пастернак, О.Мандельштам — тоже почти (увы, почти!) целиком, Булгаков, Зощенко, Платонов, Сологуб, Бальмонт, Северянин, Замятин, Ремизов, Артем Веселый, Набоков и многие другие.

Скептик. Помнишь ли ты шутку об аквариуме и ухе? Аквариум легко превратить в уху. Это они сделали. Теперь они хотят от ухи снова вернуться к аквариуму. Не к тому ли сводится их демократизация?

Оптимист. Все ли превращено в уху? Ведь уха — это смерть, и если всюду победила смерть, то возврата к жизни не будет. В том-то и дело, друг мой, что жизнь сохранилась не только в отдельных клеточках, — противясь насилию, она безмерно окрепла. Это и позволяет мне надеяться и даже верить в будущее.

Кто из собеседников прав? Оптимист или скептик? Будущее покажет. Не вдаваясь в оценку, проследим за важнейшими литературными фактами последнего года.

2. Восстановление прошлого:

такова наиболее наглядная сторона процесса. Разумеется, важно то, что русский читатель получит Гумилева и Набокова, Волошина и Ремизова. Это поднимет его духовный, интеллектуальный, художественный уровень. Чем уровень людей выше, тем труднее ими манипулировать, тем серьезнее надо считаться с их культурными, то есть историческими, эстетическими, религиозными знаниями.

Дело, однако, не только в этом. Пересмотр литературной истории XX века представляет собой небывалое по масштабу идеологическое отступление режима: сегодня он недвусмысленно признается в том, что до сих пор жил фальсификацией. О Гумилеве уже пишут в журнальных статьях как о крупнейшем — рядом с Блоком — поэте своего времени. Как же быть с многотомными историями литературы, со школьными и университетскими учебниками, с биографиями Блока, Ахма-

товой, Мандельштама, с антологиями оригинальной и переводной поэзии? Все это подлежит пересмотру.

В 1968-1969 годах вышла академическая "История русской поэзии", в ней Гумилев — злобный агрессор, который, "прославляя сильную личность, не видел и не хотел видеть творческие силы трудящихся масс (...), стал участником контрреволюционного заговора и понес заслуженную кару (т. II, стр. 380) .

В 1968 году из моего сборника "Мастера русского стихотворного перевода" цензура со скандалом выбросила Гумилева, переводчика Т.Готье и французских народных песен, а заодно, конечно, Ходасевича, переводчика еврейских поэтов, не говоря уже о Жаботинском, переводчике Бялика.

Теперь, 20 лет спустя, изгнанники вернутся на свои места, но вместе с их возвращением рождается и проблема фальсификации. Во имя чего осуществлялось искажение процесса? Мотивируя запрет на произведения и даже на имя Гумилева, критики и казенные литературоведы с пафосом твердили о его, Гумилева, колонизаторской, и, значит, империалистической сущности, о его монархизме и косной церковности, о его эстетстве, чуждом русской традиции. Сегодня все это забыто: Гумилев, оказывается, ездил в Африку не как колонизатор, а как гуманист, он пекся об угнетенных племенах Черной Африки; на войне он был не агрессором, а патриотом, воспевал не сверхчеловека, а русского солдата. Таков вариант 1987 года. Началась противоположная фальсификация, однако, от предыдущей она отличается необязательностью, то есть негосударственностью. Ну, а как быть с той, которая считалась чуть ли не утвержденной законом? Ведь нарушение закона есть преступление против уголовного кодекса, — до 1987 года восхваление империалиста Гумилева не могло быть расценено иначе. Возвращение его в круг достойных признания писателей должно повлечь за собою решительное осуждение фальсификаторов, вплоть до высших партийно-государственных инстанций, инициаторов фальсификаций (вспомним о Жданове, его имя еще носит Ленинградский университет).

Недавно реабилитирован Б.Л.Пастернак. Автора романа "Доктор Живаго", ныне публикуемого "Новым миром", посмертно восстановили в Союзе писателей. Можно сказать — это смешно: все всегда знали, что антипастернаковская кампания 1958 года была глупостью, что "Доктор Живаго" — роман политически безвредный и не подрывающий основы советской власти, и что травля Пастернака вызвана отчасти малограмотностью Хрущева. И все же посмертное восстановление Пастернака в правах ничуть не смешно.

В 1958 году в Москве и Ленинграде проходили многолюдные собрания, на которых знаменитые литераторы клеймили Пастернака как предателя, антипатриота, антиреволюционера, наймита и даже дармоеда. В этих горестных гротескных проработках участвовали С.Михалков, В.Солоухин, Л.Ошанин, С.Баруздин, Б.Полевой, К.Зелинский, К.Симонов, А.Сурков.

Приезжавший в Ленинград Михалков кричал, грозя пальцем залу: "Надо проверить, сколько среди нас прячется Пастернаков!" Реабилитация Пастернака покрывает его хулителем позором; на сей раз это выражение не только общественного мнения интеллигентской элиты, но и официальное, как бы партийно-государственное осуждение всех руководителей Союза писателей, их прихлебателей и заплечников.

Как должен чувствовать себя такой "столп нравственности и прогресса" как Солоухин, сказавший о "Докторе Живаго", что эта книга — не более чем "орудие холодной войны против коммунизма", или вождь писателей РСФСР Михалков?

С.Баруздин тогда, 31 октября 1958 года, заявил в Союзе писателей: "Народ (...) не знал Пастернака как писателя. Он знал его как предателя. (...) Есть хорошая русская пословица: "Собачьего нрава не изменишь!" Так говорил один русский писатель о другом. Сегодня С.Баруздин — главный редактор журнала "Дружба народов", в котором публикуются самые невероятные, недавно запретные произведения, вроде антисталинского романа Ан.Рыбакова "Дети Арбата". Дождемся ли мы публичного покаяния Баруздина?

Реабилитация Пастернака — это приговор прежней литературной политике; по существу, Михалковы должны были бы

предаться самобичеванию или хотя бы вспомнить достойный пример их старшего собрата А.А.Фадеева. Они этого не сделают. Своеобразие исторического момента в том, что происходят глубокие радикальные перемены, принимаются меры по восстановлению исторической правды, виновные же во лжи, терроре и фальсификациях остаются в стороне.

Полгода назад, в ноябре 1986 года, автор настоящих строк сделал на международном форуме писателей в Париже доклад под заглавием "Полуправда". Речь шла о том, что нельзя постоянно твердить слово "правда" и останавливаться на полпути: например, возвращать Гумилева и по-прежнему молчать о Ходасевиче и Г.Иванове; или, признавая значение Ахматовой, держать под запретом ее "Реквием" и "Венок мертвым"; печатать из Булгакова "Мастера и Маргариту", но игнорировать "Собачье сердце". Доклад этот сильно устарел; правда постепенно берет верх над умолчаниями и запретами. Уже публикуется Ходасевич, а в "Литературной газете" можно прочесть обширное интервью эмигрантской поэтессы И.Одоевцевой, рассказывающей о своем учителе Гумилеве и о своем муже Г. Иванове — теперь, когда лед взломан, в России появятся и стихи Георгия Иванова, — несмотря на его "белую" репутацию.

Уже восстановлена справедливость в отношении А.Твардовского — журнал "Знамя" (1987, № 2), а вслед за тем и "Новый мир" (1987, № 3) напечатали его последнюю поэму "По праву памяти", обличающую трагедию коллективизации.

В журнале "Огонек" появилась подборка из М.Волошина, в которую включен большой отрывок из поэмы "Россия", которая, казалось бы, обречена на безусловный запрет. ("И белые, и красные Россию / Плечом к плечу взрывают как волю — / В одном яре — сохой междоусобья/ ... / Истории потребен сгусток воль:/ Партийность и программы — безразличны".) В советских журналах появился не только роман В.Набокова "Защита Лужина", но и стихи этого автора, имя которого еще недавно опасались произносить.

Все перечисленное — не слова, а дела. Каждое из них чревата далеко идущими последствиями. Так, появление поэмы

Твардовского влечет за собой: осуждение цензуры, запретившей публикацию поэмы в том журнале, где ее автор был главным редактором; пересмотр эволюции Твардовского, пришедшего в последней своей поэме "По праву памяти" к отрицанию своей же "Страны Муравии", считавшейся до сих пор одним из его шедевров; пересмотр благотворности самой коллективизации, которая в первой поэме Твардовского трактована как земной рай, а в последней — как среднее между зловещей ошибкой и преступлением; пересмотр понятия "кулак" который оказывается не классовым врагом, а гордостью русского крестьянства. О сосланном в Сибирь отце Твардовский говорит, что в нем "взыграло" "мужицкое тщеславье":

**И в тех краях, где виснул иней
С барачных стен и потолка,
Он, может, полон был гордыни,
Что вдруг сошел за кулака...**

Это восклицает тот самый Твардовский, который 30 лет назад проклинал кулаков ("Мой враг до гроба и палач, / Вот в этот день и час, / Где ты на свете, Степка Грач, / И весь твой подлый класс?..")

Однако для переживаемого сейчас момента характерно не только то, что поэма "По праву памяти" публикуется через 20 лет после ее написания, но и то, что читателю никаких объяснений не дается: публикатор просто замечает о том, что "последняя поэма" д о ж д а л а с ь , "наконец", встречи с читателем" (НМ, 1987, стр. 164).

Подобную цепь катастрофических последствий влечет за собой едва ли не каждая из новых публикаций. Все они в целом представляют собой политическое и культурное событие громадного значения.

Одновременно осуществляются и постепенные шаги, развивающие прежние успехи, то есть достижения хрущевской "оттепели". В ближайшее время должно выйти булгаковское "Собачье сердце" — это опрокидывает пессимистические прогнозы скептиков. В недавнем двухтомнике Анны Ахматовой (1985) еще нет "Реквиема", — но он только что вышел в № 3

журнала "Октябрь" за 1987 год. Уже напечатан "Венок мертвым" — цикл, посвященный жертвам разных форм красного террора: Мандельштаму, Нарбуту, Зощенко, Пастернаку, Булгакову и другим.

В последнем трехтомнике Заболоцкого даны стихи о лагерниках и другие трагические вещи, опускавшиеся прежде. В журналах печатаются неизвестные мистические статьи Хлебникова и религиозно-философские размышления П.Флоренского.

Со стороны эти сдвиги могут показаться малозначительными. Изнутри советской действительности они грандиозны, если всерьез учитывать необратимые последствия каждого из них.

3. Нынешнее литературное движение

с самого начала — взлет прозы; ей не предшествовала, как то было в прошлую "оттепель" и как вообще бывает в поворотные эпохи, поэтические прелюдии. Большие повести и романы появились, едва лишь в них обнаружилась общественная потребность, и они смогли пробиться в печать. Таковы книги В.Распутина ("Пожар"), В.Астафьева ("Печальный детектив") Ч.Айтматова ("Плаха"), Д.Гранина ("Зубр"). Только что напечатан роман В.Дудинцева "Белые одежды"; печатается повесть Ан.Приставкина "Ночевала тучка золотая"; еще не напечатан, но уже известен — по предварительным публикациям и различным интервью — роман Ан.Рыбакова "Дети Арбата".

Книги эти в большой степени написаны к моменту поворота в культурной политике: преобразования толстых журналов ("Новый мир", "Знамя") и такого популярного тонкого журнала как "Огонек"; устранения официальной предварительной цензуры для публикаций, театральных представлений и кинофильмов; обновления творческих союзов — писателей, кинематографистов, театральных деятелей, художников; признания допустимости эстетического плюрализма (в том числе абстрактной живописи, символического и даже субъективно-метафизического кинематографа, авангардного театра и т.п.).

К тому, казалось бы, неожиданному дню, когда — в конце 1986 года — осуществился поворот (он начался со съезда кинематографистов), многие романы лежали в столах их авторов, потерявших надежду на публикацию. Вдруг оказалось, что роман Александра Бека "Новое назначение", написанный много лет назад и уже полтора десятилетия как вышедший в свет на Западе, может спокойно появиться в Советском Союзе. А ведь он долго пользовался репутацией антисоветской книги! Ничего антисоветского в нем теперь не обнаружилось; вернее, под терминами "советское" и "антисоветское" следует понимать, как оказалось, нечто совершенно иное.

Здесь необходимо отступление.

Известно, что в вопросах международной политики правота Сахарова стала очевидной: не Сахаров изменился, а ЦК КПСС вплотную приблизился к его позиции. В отношении литературы и литературной политики сегодня нельзя отрицать правоту такого, например, автора, как Лидия Чуковская.

В марте 1966 года на собрании писателей, где выступал судья Л.Н.Смирнов о деле Синявского и Даниэля, Л.К.Чуковская послала Смирнову записку с вопросом, что означает — юридически — слово "антисоветский" ("... как определяется судьями степень советскости и антисоветскости художественной прозы?")*

Антисоветскими в разное время называли: стихи Есенина, Цветаевой, Заболоцкого, Твардовского, рассказы Бабеля, сказки Чуковского, прозу Толстого, Эренбурга, Платонова, Гроссмана, юмористику Зощенко, поэмы Ахматовой... Все это позднее оказалось советской классикой. Каково же юридическое содержание того слова, которое служит обвинением Синявскому и Даниэлю? Как его понять? Реабилитации последнего года с блеском подтверждают правоту Л.К.Чуковской. Еще недавно "Новое назначение" было антисоветским романом; а что сказать про булгаковское "Собачье сердце", про повесть Зощенко "Перед восходом солнца", про "Ювенильное море" Платонова, про "Россию" Волошина или книги Набокова? Л.К.Чуковская тут, несомненно, победила.

* Л.К.Чуковская. Сб. "Открытое слово", Изд."Хроника", Нью-Йорк, 1976, стр. 33.

Есть еще область, в которой нельзя не признать ее правоты: дело Пастернака. В статье "Гнев народа" (1973) она рассказала о шофере такси, который считал Пастернака изменником родины и дармоедом, хотя никогда не читал его: "Я не читал Пастернака, но знаю: в литературе без лягушек лучше".

Столь же гротескный характер носила травля Сахарова полтора десятилетия спустя, в 1973 году — литератор Кожевников тогда объявил в газете "Известия" (30 августа), будто бы Сахаров требует "вмешательства империализма во внутренние дела своей страны и братских социалистических стран". Чуковская разъясняла своим читателям: "против беззаконий и зверств поднял свой голос академик Сахаров. За это его называют антисоветчиком. Разве слово "советский" означает беззаконный и зверский?"*

Имя Л.К.Чуковской по-прежнему не упоминается в СССР. Между тем, в поединке с коммунистическим режимом победила эта почти ослепшая семидесятипятилетняя женщина. Вместе с нею победу одержали ее единомышленники и соратники, часть которых освобождена, другие еще томятся в лагерях.

4. "Гласность"!

Вот уже несколько месяцев, как важнейшим лозунгом "эпохи перестройки" стало слово гласность. Гласностью на каждой странице клянется "Правда", о ней говорят ораторы на партийном съезде и пленуме, на съездах деятелей искусств. Помнят ли те, кто сегодня твердит о гласности, чьи слова они повторяют? Помнят ли они, что А.И.Солженицын писал в ноябре 1969 года, обращаясь к секретариату Союза писателей:

"Гласность, честная и полная гласность, — вот первое условие здоровья всякого общества — и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности — тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности, тот не хочет очистить его от болезни, а загнать ее внутрь, чтобы она гнила там".**

*Л.К.Чуковская. Процесс Исключения. YMCA-Press, 1979, стр. 205. Также: "Открытое слово", стр. 33-35.

**Дело Солженицына. "Editions de Seine", Paris, 1971, стр. 155.

Позднее это слово иронически подхватила Л.К.Чуковская, рассказывая о моем исключении из Союза писателей, в ходе которого впервые откровенно прозвучал голос КГБ; справка из Большого Дома для Союза писателей начиналась так: "В поле зрения КГБ Эткинд попал в 1969 году в связи с ..." И Чуковская комментирует: "Вот она, наконец, долгожданная, полная и честная гласность. Никаких тебе литературных игр: эстетство, декаденство, камерность, не отразил победное шествие и т.п. Сразу быка за рога..."*

Так что слово **г л а с н о с т ь**, получившее ныне всемирную известность, заимствовано у нашего брата, отщепенца. "Честная и полная гласность" — вот чего требовал Солженицын почти 20 лет назад как "условия здоровья всякого общества". Слово подхватили, но осуществлено ли содержание такового? Увы, до "честной и полной" еще далеко. Границы страны наглухо закрыты, таможенники обыскивают туристов, домогаясь рукописей, рубль остается двусмысленной валютой, котируемой по-разному в разных обстоятельствах, политзаключенные лицемерно причисляются к уголовникам, аресты за инакомыслие или за религиозные взгляды по-прежнему практикуются... Обо всем этом никто в СССР вслух не говорит и говорить не смеет — такова ли "честная и полная гласность?"

Разумеется, не Солженицын первым произнес это слово. Исторические параллели поучительны; сто тридцать лет назад Россия переживала период, сходный с нынешним. После смерти в 1855 году Николая I ждали решительных перемен и возлагали надежды на нового государя, воспитанника Жуковского, передовых кругов, Александра II. Все, что писали в ту пору даже умеренные либералы, печатая свои статьи в Лондоне у Герцена, кажется сегодня неправдоподобно актуальным.

Вот, например, как характеризует Б. Н.Чичерин "одно из величайших зол, которыми страдает Россия. Это, — пишет он, — господствующая всюду официальная ложь. Можно без преувеличения сказать, что вся-

*Л.К.Чуковская. Процесс исключения. УМСА-Press, 1979, стр. 165.

кое официальное изъятие не что иное, как ложь. Все отчеты и донесения высших государственных сановников суть ложь, все отчеты и донесения губернаторов и других областных властей суть ложь, все статистические сведения суть ложь, все уверения в преданности и любви суть ложь, все публичные акты для оказания почтения высшим сановникам, как например, подписки с разрешения правительства, суть ложь; наконец, даже большая часть патриотических изъятий не что иное, как чистая ложь. (...) Так священнейшие чувства человека при господстве ложной системы управления превращаются в возмутительную лезть и в раблепный страх перед начальством".*

Через более чем столетие русский (советский) поэт, едва ли знакомый с публицистикой Чичерина, печатавшейся в Англии у Герцена, написал строки, содержание и напряженный трагизм которых почти не отличается от содержания приведенного текста:

ЛОЖЬ

Об истине и не мечтая,
Я, робкий, жил тогда — и сплошь
вокруг меня была густая
всеразъедающая ложь,
Ложь с квасом пили, с кашей ели.
Смеясь, дышали ядом лжи.
Ложь в поры проникала, в щели,
Лжи громоздились этажи!..
Сейчас я вспоминаю живо
тот мир полсотни лет назад:
была улыбка старца лжива
и у дитяти лживый взгляд.
Казалось всем: умри, воскресни, —
и так все будет до конца:
ложь в детской колыбельной песне,
ложь в завещанье мертвеца!
Пред ложью голову склоняли,
Ложь важно слушали из лож,
и ложью новой заменяли
уже наскучившую ложь.
Со вкусом лгали, лгали сладко,
кто просто врал, а кто вдвойне!..

* (Б.Н.Чичерин). Современные задачи русской жизни. Голоса из России, кн. 1 У, Лондон, "Вольная русская книгопечатня", 1857, стр. 86-87.

**Но, словно смутный сон, догадка
тоскливо брезжила во мне!
Я робок был и слаб, и молод, —
Я брел ночами сквозь туман!
Весь в трубах, башнях, шпилях город
был как чудовищный обман.
Я брел в ботинках неуклюжих,
брел, сам с собою говоря...
И живо отражалась в лужах
насквозь фальшивая заря.**

Стихотворение "Ложь" кажется переводом из Чичерина — переводом с русского на русский, с языка публицистической прозы на язык гражданской поэзии, с языка прошлого века на язык нынешнего. Этот своеобразный литературный эксперимент — лишнее свидетельство в пользу того, какой целью отличается история России и как опасно представлять себе, что в какой-то момент ее органическое развитие прервалось, и она оказалась оккупированной какими-то зловещими инородцами...

Безымянный автор, приславший Герцену "Записку о письменной литературе", утверждал, что "В великие минуты народной жизни совершаются великие государственные преобразования. Теперь нерешительностью и полумерами ничего не сделаешь (...) Станем ли мы прислушиваться к общественному мнению, мы услышим одно: требование гласности; станем ли читать более или менее дельные статьи рукописной литературы, мы увидим одно: требование гласности. Теперь же самые факты указывают на нее как на единственное средство против явного зла".* Сопратник Чичерина Н.Мельгунов в "Приятельском разговоре" вложил в уста Не-чиновника восклицание: "Скажи ты мне, Бога ради, до каких же пор станем мы трусить перед малейшей гласностью?..": После чего этот персонаж пускается в следующее (ничуть не устаревшее!) рассуждение: "Почему бы нашему правительству не вспомнить, что еще недавно сочинения Гоголя, даже Пушкина считались зловредными, что принимались строжайшие меры против слов: народ, свобода, вольный дух и т.д. И что же? Вот вышли в

*Голоса из России, ч. 1, Лондон, 1856, стр. 60.

свет и сочинения Пушкина, и сочинения Гоголя, и даже вторая часть его "Мертвых душ"; слова: свобода, народ, конституция, вольный дух и пр. печатаются даже не в поваренных книгах".*

Сто тридцать лет назад о гласности говорил не Александр II, а Герцен и либералы. Сегодня, докладывая пленуму ЦК КПСС, Генеральный секретарь М.С.Горбачев заявляет: "Оздоровляя общественную атмосферу, необходимо и дальше развивать гласность (...). Очевидно, настало время приступить к разработке правовых актов, гарантирующих гласность. Они должны обеспечить максимальную открытость в деятельности государственных и общественных организаций, давать трудящимся реальную возможность высказывать свое мнение по любому вопросу общественной жизни".**

Впервые глава партии, почти единодержавный правитель России, сам взыскует гласности, говорит о ее необходимости, как бы продолжая монолог, начатый Герценом, демократами и либералами, развитый Солженицыным, Л.Чуковской, Гр. Свирским, деятелями Самиздата и диссидентами, главным образом, "правозащитниками" — чья позиция в наше время кое в чем сходна с позицией теоретиков либерализма в прошлом веке.

Понятно, что каждый из названных авторов вкладывает в одно и то же слово собственный смысл: наиболее радикален Герцен, гораздо осторожнее Б.Чичерин, писавший, что гласность — "лучшая опора законного порядка", поскольку "сдавленные потребности" вызывают открытую борьбу и скорее, чем явные, могут привести к беспорядкам. Чичерин ссылается на "мудрую политику" английского правительства, говоря: "Английские государственные люди утверждают, что гласность есть клапан, необходимый для предупреждения взрывов".***

Таково одно из пониманий этого термина — в отличие от герценовского, связанного со стремлением не охранить, а пре-

*Голоса из России, 1-ый выпуск 2-ой части, стр. 21, 23

**Материалы Пленума ЦК КПСС 27-28 января 1987 г. "Политиздат" 1987, стр. 33

***"Русский вестник", 1856, т.V, кн. 2, стр. 677. Цит. по: Голоса из России, кн. X. Комментарии и указатели. М., "Наука", 1975, стр. 76.

образовать российскую государственность. Чего хотел Солженицын? Если судить по его более позднему сочинению "Наши плюралисты" (1985), он вовсе не был сторонником полной свободы высказываний. С его точки зрения, истина одна, Божья, известна она ему, Солженицыну, иные же суждения едва ли не еретичны, а значит, бесполезны и даже греховны.

Для Л.Чуковской и других демократов истина не предшествует гласности; она является результатом столкновения и противоборства различных мнений. Что имеет в виду Горбачев, выдвигая тот же лозунг? Одни полагают — обман общественного мнения путем присвоения себе лозунгов своих противников; другие — "английскую" позицию: "гласность есть клапан, необходимый для предупреждения взрывов"; третьи — понимание необходимости открытых дискуссий для спасения зашедшего в тупик режима, скованного экономическим параличом. Кто более прав, покажет ближайшее будущее. Возможно также, что эти три оценки не исключают друг друга.

5. Текущая литература,

однако, обещает многое. Никогда, пожалуй, советское общество не подвергалось такому суровому суду, как в двух недавних книгах, дополняющих друг друга: "Печальный детектив" В.Астафьева и "Пожар" В.Распутина. Роман Астафьева демонстрирует безнадежно-унылую, убийственно-мрачную жизнь советской провинции — грязный, бездуховный быт, бессмысленное, скучное насилие, бездушие косного, омертвелого чиновничества. Все живое, всякое проявление любви или таланта растаптывается без жалости и оглядки. Дышать в этом мире нечем, в нем нет (и не может быть) ни молодости, ни свободы, ни веселья. Мир затхлого рабства и всеобщей неприязни, нередко перерастающей в ненависть.

Повесть Распутина "Пожар" увенчивает эту картину аллегорией: пожар — общее бедствие, когда ярче всего должны проявиться черты коллективизма, якобы свойственные советскому человеку, и будто бы воспитанные в нем десятилетиями советского социализма. На самом же деле о коллективизме не может быть и речи: люди сформировались хищниками, хапугами, безнравственными маловерами и грабителями; каж-

дый мечтает лишь о том, чтобы набить собственный карман за счет общего бедствия.

"Мы" — так назвал когда-то свою антиутопию Е.Замятин. "Мы" — так мог бы назвать свою аллегорическую повесть Распутин. Вот до чего "дорезвилось" общество: оно достигло самого дна мещанской пошлости. Можно ли спасти его? Об этом повествует третий из прозаических "шлягеров" последнего года, роман Чингиза Айтматова "Плаха".

О книге В.Астафьева много спорят в СССР, и даже споры такие, которые недавно были немыслимы. В "Вопросах литературы" (1986, 11) Ал.Кучерский видит в романе набор высокопарных трюизмов, нагнетание антиэстетизма ("Может ли литература не возвышать дух, а, напротив, топить его в пошлости и грязи?" — стр. 79), антиинтеллигентскую и антисемитскую направленность. Возражая ему, Ек.Старикова восклицает: "... писатели не смеют сегодня отворачиваться от "внеэстетического" материала жизни: слишком его много в мире (...) Бывают такие моменты в истории обществ, а значит, и искусств, когда на первый план выступает главное ощущение: "так больше нельз я!.."

Ек.Старикова написала эти убийственные строки и не боялась, что за ней ночью придут. А ведь еще недавно... Однако Старикова продолжает излагать смысл "Печального детектива": "Писатель спрашивает у читателя: до каких пор все мы вместе и каждый в отдельности будем терпеть бюрократическое бездушие, самодовольное хамство, распоясавшееся хулиганство, безнаказанность преступлений, одиночество стариков в обезлюдивших деревнях, безответственных родителей маленьких детей?.." (стр. 82). Такова картина советской действительности, которую дает Ек.Старикова, обобщая роман Астафьева: все это вместе — клевета, антисоветчина, недавно каравшиеся по статье 70 УК. Она полагает, что В.Астафьев обрел право в таком тоне говорить со своим собственным народом — он бесстрашно ставит перед ним зеркало, чтобы русский человек увидел свой национальный позор. Ек.Старикова цитирует В.Астафьева:

"А на Руси Великой зверь в человеческом облике бывает не просто зверем, но звериной, и рождается он чаще всего покорностью нашей, безответственностью, безалаберностью, желанием избранных, точнее, самих себя зачисливших в избранные, жить лучше, сытей ближних своих, выделиться среди них, выщелкнуться, но чаще всего — жить, будто вниз по речке плыть" (стр.87) .

Приведу и я несколько строк из "Печального детектива". Вот как рассказывает Астафьев о забавах советского человека: "Добрый молодец, двадцати двух лет отроду, откушав в молодежном кафе горячительного, пошел гулять по улице и заколол мимоходом трех человек" (стр. 20-21) . Толпа жалеет его, слышны восклицания: "Такой мальчик! Кудрявый!" На вопрос же: "За что убил людей, змееныш? — "А хари не понравились!" — беспечно улыбнулся тот в ответ".

Критик понимает писателя, просветляет его глубинную мысль, во многом с ним согласен. Но критик видит и то, что писатель — плоть от плоти того народа, который ему и дорог, и ненавистен. Расизм В.Астафьева, поплеывающего в сторону инородцев, вызывает у Стариковой гневную отповедь, ей отвратителен "... тон этакого славянского супермена по отношению к разным там французикам и "еврейчатам". (...) Это — доморощенный шовинизм дурного тона (...) В конце же XX века пора хорошо помнить и о тех опасностях, которые распушенность подобного рода инстинктов и настроений иной раз или иные разы рождает. Достоевский, грешивший подобными же выражениями, по крайней мере, еще не знал, что такое Освенцим и Дахау. Даже он не знал. Но мы-то с В.Астафьевым хорошо осведомлены" (стр.87).

Я остановился на критической дискуссии вокруг книги В. Астафьева, потому что характер этих споров не менее актуален, чем сам роман. Совсем недавно цензура не пропустила бы ни отрицателя, А.Кучерского, ни утвердителя, Ек.Старикову. Впрочем, цензура прежде всего не пропустила бы роман Астафьева — на том самом основании, на котором его проявление удовлетворяет Старикову: "... у Астафьева есть право крестьянского внука и бывшего солдата наотмашь, не льясь и не миндальничая, говорить со своим народом о его болезнях..." (89). "Мы никому не позволим, — начертил бы красный ка-

рандаш главлитчика, — порочить наш героический народ и приписывать ему воображаемые болезни". И "Печальный детектив" многие десятилетия лежал бы в ящике у Астафьева, как десятилетиями лежали до нынешних дней романы и повести В.Дудинцева, Ан.Рыбакова, А.Бека, Ан.Приставкина, Д.Гранина, даже М.Булгакова, А.Платонова, М.Зощенко, Ю.Трифорова...

б. Общечеловеческое вместо классового

Книга Чингиза Айтматова "Плаха" до сих пор — самая важная вещь нового политического курса. Роман ли это? В.Лакшин убедительно показал композиционную хаотичность этого странного произведения, но другой критик, белорусский писатель Алесь Адамович, в статье "Против правил?" (ЛГ, 1 января 1987) заявил, что перед нами иная художественность, но вая: "пирамида из циклопических глыб — а мы ходим-судим, достаточно ли отшлифовано". И Адамович взволнованно продолжает: "Удивиться же, поразиться, поразмыслить, как мастер их вырубил, от чего отколол, от каких гор, как сдвинул с места и на чем их тревожное равновесие — нет на это у нас ни времени, ни желания".

В "Плахе" соединяются разные сюжеты: история волчицы Акбары, синеглазой матери двоих волчат, которых она обучает охоте и которые гибнут под копытами многотысячного стада сайгаков, отстреливаемых безумными людьми, которым надо выполнять план по мясосдаче; история Авдия Каллистратова, диссидента православной церкви, ставшего журналистом, который отправляется с группой уголовников собирать наркотик и гибнет, разделив через почти две тысячи лет участь Иисуса Христа; история самого Христа, ведущего вот уже которое столетие свой нескончаемый и бесплодный диалог с Понтием Пилатом; история чабана Бостона, в трудных спорах с партийным руководством отстаивающего достоинство крестьянина и его право самому без чиновников и партсекретарей отвечать за свою землю и за своих животных, за свою жизнь и свою страну. Как все это соединяется воедино? В конце концов каким-то образом соединяется. Адамович говорит: "А ес-

ли это — как взрыв? Как горы образуются: донным напряжением, сдвигом, а то и вулканическим выбросом. Как разбрасает, так и ляжет (...) К новым вулканическим горам, наверное, тоже привыкал чей-то глаз нелегко и, скорее всего, с чувством дискомфорта и даже ужаса. Откуда такое, что это? А потом уже невозможно вообразить, что этого не было, представить пейзаж без той или иной горы”.

Не буду подробно говорить о “Плахе”. Приведу только три цитаты.

Первая. Отец-Координатор, крупный деятель церкви, пытается уговорить Авдия вернуться в ее лоно. Он говорит юному диссиденту: “... ты встал на путь ревизии вероучения... Ты ратуешь за раскрепощение от догматизма, тогда как догматы даны по благодати Господа... Догматизм — первейшая опора всех положений и всех властей”. (стр.48)

Никогда еще в советской литературе так не дискредитировали правящую партию, живущую догматизмом!”

Вторая. “... К чему в наш век давно обветшавшая религия?.. Действительно, к чему? Ведь всем уже давно все ясно, даже детям. Разве материалистическая наука не вбила осиновый кол в могилу христианского вероучения, и не только его одного, не смела их решительно и властно с пути прогресса и культуры — единственно верного пути?.. Но к чему мы пришли, что у нас есть взамен той милосердной, жертвенной, давно отброшенной на обочину, злорадно высмеянной реалистическими мировоззрениями идеи? Что у нас есть подобное, вернее, превосходящее? Ведь новое должно быть лучше старого...” (стр. 124).

Никогда еще в советской литературе так откровенно не говорилось о бессилии диалектического материализма в духовно-нравственной области и о превосходстве над ним христианской религии.

Третья. “Раскаяние — одно из великих достижений в истории человеческого духа — в наши дни дискредитировано... Но как же может человек быть человеком без раскаяния, без того потрясения и прозрения, которые достигаются через осознание вины?.. Раскаяние — это вечная и неизбывная забота человеческого духа о самом себе...” (стр. 136, 140).

Никогда еще никто в советской литературе не позволял себе так говорить об общечеловеческих ценностях духа, игнорируя не только классовость общества, но и материальность мира.

Можно сказать, эти декларации принадлежат не Айтматову, а его персонажу. Но вот и собственное утверждение Ч.Айтматова, советского писателя-киргиза, пишущего по-русски; это — из его выступления в октябре 1985 года в Софии, в Европейской Академии наук, искусств и литературы:

“Хорошо, что человечество только теперь сталкивается с электронным мышлением, потому что электронное мышление могло бы помешать возникновению великих религиозных учений (...); может быть, пагубно отразилось бы на мировой поэзии; может быть, отразилось бы и на стихии музыки...”*

Нужно ли комментировать эти слова и особо доказывать, что они не имеют никакого отношения к идеологии той партии, которая поставила на место Библии статью Ленина “Партийная организация и партийная литература”, а на место Евангелия — доклад Жданова о журналах “Звезда” и “Ленинград”?

*Вопросы литературы, № 3, стр. 6 .

И.Ш

"ТОЛСТЫЕ" ЖУРНАЛЫ В ЭМИГРАЦИИ И В СССР

"КОНТИНЕНТ"

Очередной обзор "Континента" (№49), который мы делаем с изрядным опозданием, показывает, что с художественной частью в этом номере обстоит хорошо. Тут и полуфантастическая повесть покойного Тарковского "Жертвоприношение" и кусок яркой прозы Саши Соколова, стихи Ратушинской и Друскина, переводы Наврозова-сына. Удивительная подборка стихов Алексея Цветкова из Вашингтона снова обращает внимание на этого интересного поэта:

**Ветлы волглые в усмерках сизы
Комарей шилоротый отряд
в лебеде ништяки звездогрызы
силикатную озубь острят.**

Но когда мы переходим к публицистике, тотчас исчезает ощущение высокого уровня, а то и просто здравого смысла.

Показательна в этом смысле статья Дмитрия Панина, исторически развивающая, по сути дела, старый анекдот,

по которому в России все держится по триста лет: и татары, и Романовы, и Советы. Совершенно серьезно автор пишет: "Сквозь (Белой армии) шеренги я увидел воочию своих предков. От юнкеров бежали красные части Сорокина, Сиверса, Жлобы; от ратников Руси — орды кочевников и татар". Вроде бы, все наоборот: юнкера бежали от красных, но те и другие были потомками ратников Руси. У Панина есть мощный прием: когда факты не соответствуют его исторической концепции, он отдает указание: "Историкам этой эпохи надлежит углубить и расширить приведенные примеры и вытекающие из них выводы". Так и ждешь бодрого ответа: "Есть, товарищ Панин!"

Далее автор славит Московскую Русь с оглядкой на нынешнюю, и еще больше — на будущую: "Все они действовали, не щадя живота своего... разрушителей ожидала крутая расправа. Догматически строгая церковь не соблазняла прихожан новшествами". Вообще "разрушители" или "каины-разрушители" — ключевой термин в панинском видении мира. Даже западный мир разрушители отравляли в течение ряда веков". Кто эти разрушители — я не хочу даже высказывать предположения.

После мистической авторитарности Панина с облегчением читаешь статью А.Марьямова "Оружие пропаганды и агрессии" на классическом уровне "Посева". Статьи подобного рода делаются так: берется статья из "Октября" десятилетней давности и всюду заменяется Америка на Россию и наоборот. Помоему, в современной России так уже не пишут, разве что в провинции. Пример стиля и содержания: "молодцы с Новой площади", "нагайка КГБ", (советские режиссеры) дегтем измазали страну (США), где сердечно принимали грузинских танцоров". Безумно знакомо звучит, не так ли: "Молодцы из Пентагона", "нагайка карателя", "очернили советский народ, гостеприимно принимавший их" — вот обратный перевод шедевров Марьямова.

Третья статья — под стать двум. Ее автор — израильско-московский физик д-р Марк Азбель, который раньше сравнивал себя с Моисеем, выведшим свой народ из Египта в Землю Обетованную. Обычно он конкурирует в своих статьях с Дэйлом Карнеги и делится с читателями секретом своего успеха в

науке, а именно, умением "продать" научную продукцию. На этот раз гордый своими успехами физик берет на себя роль защитника Израиля от "клеветнических нападок" д-ра Бройде.

Д-р Бройде, сын создателя "Красной капеллы" антифашистского подполья Треппера, пишущий под псевдонимом "Антонов", прожил в свое время несколько лет в Израиле, а затем уехал в Европу, где ему тоже не удалось устроиться. Но в поисках работы в Германии Антонов-Треппер-Бройде понял то, что давно знают наши читатели — легче устроиться "прямуку", чем бывшему израильскому гражданину, лучше обладать полезным статусом беженца из соцстраны, чем званием израильтянина в затянувшейся турпоездке. И вот д-р Бройде хотел бы переиграть эту ситуацию, отказавшись от израильского гражданства.

Американец может отказаться от своего гражданства — так поступили в свое время чикагские негры, переселившиеся в Израиль и провозгласившие себя "черными евреями". Они сожгли свои американские паспорта и стали лицами без гражданства. В Израиле, как и во многих других странах, такого порядка нет, и из гражданства выйти нелегко. Зато получить его еврейю — проще простого. Достаточно оказаться на израильской территории, будучи лицом без гражданства.

Д-р Бройде — фигура трагическая, и его искренне жаль. Жаль любого человека, жизнь которого не удалась. Особенно жаль своего брата-эмигранта, покинувшего родину "ради истин, а также ради богатства римлян" — и не нашедшего ни истин, ни богатства, ни просто спокойной работы. Он обратился с "открытым письмом" ко всему свету, мировой прессе, президенту Израиля и т.д. с просьбой сделать его снова беженцем, — и это письмо было помещено в "Континенте" № 49. Судя по письму, он похож на набоковского Пнина, преподавателя русской литературы на краю безумия, подающего документы в захолустные университеты Западного мира и получающего неизменные отказы. Его творчество напоминает по невнятности книги покойного Тарсиса. Нелегкая судьба — еще не средство от графомании, и, конечно, израильский паспорт — не единственная помеха на его пути: ведь многие другие экс-израильтя-

не устроились в Европе и Америке. Хотя, возможно, израильский паспорт ему мешал наравне с другими факторами. Если бы я был булгаковским чертом, я бы нашел ему кафедру в городке с липами и старинным университетом, или хотя бы работу в архиве на "Либерти", этом приюте для тех, кто "не заслужил счастья, но заслужил покой".

Вот этому-то д-ру Бройде и отвечает д-р Азбель на страницах "Континента". Начинает он вполне рассудительно и объясняет д-ру Бройде и читателю, что нет сговора между Израилем и европейскими странами о том, чтобы не брали экс-израильтян, но есть нормальные законы об эмиграции, мешающие любому иностранцу из Третьего мира устроиться в Европе и Америке. И в этом смысле израильтянину скорее лучше, чем любому выходцу из стран Третьего мира — бразильцу, индусу или турку. Верно говорит Азбель и о том, что израильское законодательство не знает способов отказа от гражданства для лиц, не имеющих другого гражданства, — что также довольно обычно.

Но на этом д-р Азбель не останавливается. Он напоминает, как и вышеупомянутый Марьямов, гневные статьи советских газет двадцатилетней давности, скажем, времен обличения Пастернака, и там находит свое вдохновение. Он называет жалобы д-ра Бройде ни много ни мало — "кровавым наветом". Дальше — больше. Болезнь дочери д-ра Бройде — "кара за его грех клеветы на Израиль". Прочтя письмо Бройде, "захочется устроить еврейский погром и стереть Израиль с лица земли".

Нынешнее время Азбель оценивает так: "ситуация антисемитизма, антисионизма, антиизраильской истерии, подогреваемой потоком арабских долларов (новая валюта? — И.Ш.)". Если бы Израиль лишил Бройде гражданства, "государство Израиль совершило бы государственное преступление!" и т.д.

Редактор "Континента" справедливо отмечает в заключение, что если Бройде несколько перегнул палку, то Азбель и вовсе сломал эту сакраментальную палку да так, что обломки в лицо полетели.

А чего стоит хотя бы обещание Азбеля, что бедняга Бройде "плохо кончит"! И так вроде бы, куда уж хуже — особенно ес-

ли сравнить с судьбой Азбеля. Но сталинская безжалостность вколочена в души нашего поколения.

По сути же, упреки д-ра Азбеля так же наивны, как и упреки д-ра Бройде. Если обвинение в сговоре между иммиграционными властями Израиля и стран Европейского сообщества — "кровавый навет", то как будет классифицировать д-р Азбель следующие обвинения:

обвинение в сговоре между нацистами и частью сионистского истеблишмента о спасении "нужных людей" ценой молчания о судьбе прочих евреев Венгрии, — оно было сделано на процессе Кастнера, и пьесу, основанную на этом процессе, д-р Азбель может увидеть ежевечерне в Тель-Авиве;

обвинение в том, что сионистский истеблишмент и Еврейское Агентство на своих заседаниях потратили в десять раз больше времени на споры о своих зарплатах, чем о судьбах гибнувшего еврейства Европы — его можно найти в недавно вышедшей в Тель-Авиве книге израильского историка Дины Порат "Ханхага бемилкуд" ("Руководство в западне"). В этой же книге (580 страниц документов и текста) утверждается, что проблемы спасения гибнущего еврейства стояли — в в лучшем случае — на четвертом месте у Еврейского Агентства. Более того, Еврейское Агентство даже срывало сбор средств на спасение евреев, так как это конкурировало со сбором средств на развитие еврейского поселения в Палестине. Эту книгу в издании "Ам Овед" д-р Азбель может купить в Тель-Авиве, и ее автора пока не обвинили в "кровавом навете";

обвинение в том, что во времена массовой иммиграции в Израиль в конце 40-х — начале 50-х гг. израильские власти цензурировали и перехватывали письма иммигрантов, в которых не лучшим образом описывалась тогдашняя реальность, обвинение в том, что сионистские агенты бросили бомбу в багдадскую синагогу для того, чтобы спровоцировать массовый выезд евреев Ирака, и десятки подобных обвинений, содержащихся в книге ведущего израильского журналиста газеты "Гаарец" Тома Сегева "1949", изданной в Иерусалиме.

Д-р Азбель так и не понял, что, избравши форму государст-

венного существования, независимость и, отказавшись от жизни в рассеянии, евреи отказались тем самым и от специфически "галутных" форм защиты — ссылок на антисемитизм и на "кровавые наветы" для оправдания своих действий. У евреев был выбор — жить "у других" и защищаться от упреков ссылками на антисемитизм — или жить "у себя" и этими ссылками не пользоваться. Поэтому израильтяне, и не только они, могут обличать недостатки или недостойные действия израильского правительства, вовсе не опасаясь окриков д-ра Азбеля. От этих окриков нас защищает та же государственность Израиля.

"НАРОД И ЗЕМЛЯ", (Иерусалим)

Это удивительный журнал, видимо, единственный в эмиграции специализирующийся на переводах, — своего рода "Иностранная литература", но со спецификой. Речь идет о переводах книг, написанных авторами еврейского происхождения. Идея несколько странная и не вполне удобоваримая — стоит ли отбирать писателей по крови? Все же результат небезынтересен. Журнал выходит с периодичностью "Эха" — раз в год, чаще или реже — как придется.

Среди его наиболее интересных вещей роман литовского писателя Ицхака Мераса в русском переводе Феликса Дектора. Дектор переводил Мераса в Литве, продолжил это и в Иерусалиме. Мерас принадлежит к числу немногих писателей на литовском, оказавшихся за границей в последней волне, и, видимо, единственным в Израиле, где его переводят на иврит. В журнале публикуется его роман "Сарра". Действие происходит в Израиле, в лагерях, на Ривьере и, вообще, повсюду. Легко отнестись с подозрением к эмигрантской эротике, которая почти всегда напоминает "сексплуатацию" и пишется в отчаянной надежде привлечь читателя. Все же на одном этом основании невозможно списать роман "Сарра".

Литовско-еврейскую тему развивает Томас Венцлова, пишущий о вине литовцев в еврейских погромах при немецкой оккупации, и литовский оппозиционный автор, пишущий под

псевдонимом "А.Жувинтас", указывающий на вину евреев в сотрудничестве с русскими войсками в 1940 году. Впрочем, эти материалы печатались и раньше.

Я не поклонник американской еврейской литературы с ее комплексами Портного. Возможно, она наименее интересна из всех направлений американской литературы. Это предвзятое мнение не поколебалось от прочтения романа Маламуда "Милость Господа Бога", густо насыщенного символикой и верой в превосходство евреев над всеми прочими смертными. Куда более занятен роман Ромена Гари "Вся жизнь еще впереди", переведенный И.Мошкоаич, в котором идет речь о судьбе арабского мальчика, растущего в еврейском гетто в Париже.

В одной из книжек журнала — интересный и сложный перевод крупнейшего испано-еврейского поэта раннего Средневековья Шломо (Соломона) ибн Гвироля. Переводчик, Михаил Генделев, пишет о нем: "На обожженных черепках всех трех культур и религий читаем мы дактилоскопию его покрытых стружьями пальцев", — он был теологом, философом, богословом, поэтом. Поэма "Уходя из Сарагосы" состоит из 54 двустиший с одной сквозной рифмой, что не так-то легко воспроизвести. Перевод Генделева — это перевод на современной-ший поэтический язык:

**По твоему, жив я? — живя
среди быдла такого, что ни
в жизнь — правую не отличат
от левой своей пятерни?
Я притчу им — греком тотчас
ославят: "ты, мол, без фигни,
без зауми... языком
Чегой нам народным загни!**

В этой поэме ибн Гвироль, изгнанный еврейской общиной города из своей родной Сарагосы, жалуется на косность своих соплеменников, готовых признать пророка, лишь когда он надежно похоронен. Перевод Генделева — крупное литературное явление, которое я бы сравнил с переводами скальдической поэзии С.Петрова.

О евреях в научной фантастике в журнале пишет Илана Го-

мель. Это также удивительно интересный материал. Оказывается, все возможные еврейские проблемы были обыграны американскими писателями-фантастами, включая массовый переход зеленых мохнатых чудовищ в ортодоксальный иудаизм.

Возможно, основной недочет журнала — отсутствие материалов, пытающихся оценить еврейство не с филосемитской и не с антисемитской точки зрения, а с общечеловеческой. Слишком уж удобно пустить обсуждение еврейства по такому руслу — кто не с нами, тот против нас, а кто против нас, тот за Освенцим. Наиболее ярко выявлен этот недочет в публикации из вестной статьи покойного профессора Яакова Тальмона. Тальмон, интересный историк и социолог, спорит в своей статье с позицией Арнольда Тойнби по еврейскому вопросу. Статья Тальмона, бесспорно, заслуживает внимания, несмотря на свою апологетику иудаизма, — но как можно ее помещать, не приведя достаточной выдержки из самого Тойнби? Текст Тойнби о евреях в его многотомной "Истории" занимает несколько десятков страниц, и этот текст редакторы "Народа и земли" могли бы перевести и предложить читателю — полностью или сокращенно. Тогда можно было давать и ответ Тальмона. А так получилось слишком по-советски: прямо ограничиться отповедью, не давая основного текста.

Новый выпуск журнала "Земля и народ" содержит первую часть романа Ицхака Мераса "Вечный шах", которая была опубликована и в России. Видимо, речь идет о неподцензурной версии. Тема — гетто, Катастрофа, любовь. Это — одно из самых интересных произведений Мераса.

Среди прочих переводных материалов — глава из книги Эли Визеля, нового лауреата Нобелевской премии мира, посвященная рабби Нахману из Брацлава. Разница между Нобелевской премией и Нобелевской премией мира примерно такая же, как между обращениями "государь" и "милостивый государь". Уровень письма Визеля никогда не переходит нормальный журналистско-популяризаторский, здорово подслащенный, приспособленный для американского потребителя. Это особенно разочаровывает, потому что рабби Нахман — уника-

льный и очень спорный герой еврейской культуры, наиболее близкий Иисусу из Назарета. Ему посвящена замечательная монография "Святой мученик" Артура Грина, вышедшая в свет в Америке и дающая гораздо более впечатляющий образ этого еретического святого.

Иосиф Менделевич публикует отрывок из своих мемуаров, в которых центральное место отводится "операции "Свадьба" — попытке захвата самолета в Ленинграде. Эта тема уже много раз освещалась в израильских публикациях, в особенности Гиллелем Бутманом, Эдуардом Кузнецовым, Виктором Богуславским и прочими участниками и поделчиками, много раз ругавшимися между собой (как правило, на страницах "22"). Но интересен очерк детства Менделевича. Менделевич стал религиозным фанатиком по приезду в Израиль, — и его детство в бедной еврейской семье из Двинска, на периферии еврейского, русского и латвийского миров, объясняет его путь.

"ВЕСТНИК РХД" (№ 148)

Содержит несколько интересных публикаций и для неверующих. В первую очередь это любопытная подборка материалов в Киркегоре: статья Л.Черткова, отрывки из дневника Киркегора с пометами на полях Льва Толстого и биографический очерк Н.Егорова. Речь идет о Киркегоре в России, о том, как и почему этот философ, достигший максимального признания на Западе в тридцатые-сороковые годы XX века, был известен еще в дореволюционной России.

Никита Струве поместил интересный материал из литературной жизни первой эмиграции — о взаимоотношениях В.Ходасевича и В.Набокова. Набоков в юности упивался стихами Гумилева и — не менее того — его судьбой. Он мечтал о гибели, о расстреле в большевистской России, во рву, поросшем черемухой, как о желанной альтернативе "бездарной эмигрантской судьбы". Во всей эмиграции он сошелся лишь с Ходасевичем, которого описал под именем Коньичева в "Даре". И

хотя с годами он отмежевался от всех эмигрантов и современников, в том числе и от Гумилева, пиетет к Ходасевичу сохранил.

Струве, как и следовало ожидать от человека "той волны", относится скептически к таланту самого Набокова и несколько раз подчеркивает, что в этой паре Набоков был в положении Сальери. Пожалуй, только Нина Берберова из той эмиграции приняла и оценила всю уникальность Набокова — человека, из-за которого эмиграция стала литературным фактом.

"НОВЫЙ МИР"

Если события в России пойдут тем же темпом, что и в последние месяцы, вскоре не будет оснований продолжать обозрения эмигрантских журналов. Смысл существования политической эмиграции близок к терминальному и необратимому концу. С тех пор как Горбачев возвратил Сахарова в Москву, становится ясно, что там происходят иной раз более важные вещи, чем в Нью-Йорке или Париже.

Это отражается и на журналах. Самое важное произведение минувшего года было напечатано в "Новом мире" — это "Плаха" Айтматова. Когда начало романа появилось в "Новом мире" № 6, пошучивали, что теперь Солженицын вернется в Россию. Когда в № 7 не было продолжения, поспешили отпеть горбачевскую либерализацию. Но не тут-то было — в №№ 8-9 появились продолжение и окончание романа. Это вещь сильная и удивительная, ставящая острые проблемы наших дней — сосуществование человека и природы. Описания волчьей пары в романе относятся к лучшим страницам русской прозы. Если по каким-либо причинам книжное издание "Плахи" в России задержится, ее следует немедленно издать на Западе.

В "Новом мире" завершается процесс "реабилитации" Гумилева, о котором писал на страницах "Время и мы" Ефим Эткинд. Журнал публикует большую подборку стихов Гумилева, письма Гумилева Ахматовой, письма Ахматовой о Гумилеве и статью о их взаимоотношениях.

Неожиданная конвергенция Востока и Запада проявилась в статье Витюка и Эфинова, которая могла бы без изменений появиться и в "Континенте", и в "Комментарии" — "Против левого терроризма и экстремизма". Там можно найти фразу прямо из Наума Коржавина (из его письма к Беллю в "Стране и мире"): "Как могли некоторые западные интеллектуалы (Белль и Грасс), известные свои гуманизмом, проявлять снисходительность к "левым" террористам?"

В "Новом мире" состоялась одна из первых прямых дискуссий между Россией и эмиграцией. Ольга Чайковская отвечает живущей в Америке А. Орловой на тему "Почему умер П.И. Чайковский". А. Орлова напечатала в бостонском "Глобе" статью, драматизирующую обстоятельства смерти композитора. "Жизнь не так драматична," — отвечает ей Ольга Чайковская. Но тут важна не тема, а сам факт диалога.

Безумно интересны тонкие советские журналы — по "разоблачительному" уровню они давно забили эмигрантскую прессу. С этим фактом пытается бороться обозреватель выходящего в Мюнхене журнала "Страна и мир" Бахтамов. Он цитирует письмо читателя из России, в котором говорится, что, мол, советские журналы уже обогнали ваш журнал, и отвечает, что в "Стране и мире" больше смысла, хотя факты те же.

В общем, впервые с двадцатых годов в отношениях "Россия — эмиграция" ощущается примат России, а это требует перестройки всех наших отношений и привычек. Но об этом мы поговорим особо.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. Пикассо в окрестности.* — 12 долларов.
М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. — 36 долларов.
А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.
К. ВАГИНОВ. Труды и дни Свистонова. — 10 долларов.
Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.
П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.
А. КОТОМКИН. О чехословацких legionерах в Сибири.
 — 10 долларов.
П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. — 7 долларов.
В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против большевиков. — 12 долларов.
Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Соборная. — 5 долларов.
А. РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. — 12 долларов.
И. СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. — 12 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. — 15 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие.
 — 20 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла.
 — 10 долларов.
Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей.
 — 9 долларов.

Готовится к печати:

В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). Георгий Иванов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477, USA

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ДЖОН БАРРОН "КГБ СЕГОДНЯ"

Большинство наших читателей знакомо с именем Джона Баррона — автора нашумевшей книги "КГБ", переведенной на многие языки мира, в том числе и на русский.

Книга "КГБ сегодня" — новейшее исследование того же автора, рассказывающее о самых зловещих сторонах и тайных пружинах деятельности советской секретной полиции в наши дни.

На примерах подрывной деятельности КГБ в Соединенных Штатах и Японии Джон Баррон рисует широкую картину политического бандитизма, инспирируемого Москвой во всех странах мира.

В книге подробно раскрывается механизм деятельности КГБ. Джон Баррон рассказывает о том,

КАК ДЕЙСТВУЕТ КГБ СЕГОДНЯ — И В СССР, И, ВОСОБЕННОСТИ, ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ.

КАК ГОТОВЯТСЯ КАДРЫ БУДУЩИХ РАЗВЕДЧИКОВ И ВЕРБУЕТСЯ АГЕНТУРА НА ЗАПАДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СРЕДЫ САМЫХ КРУПНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ.

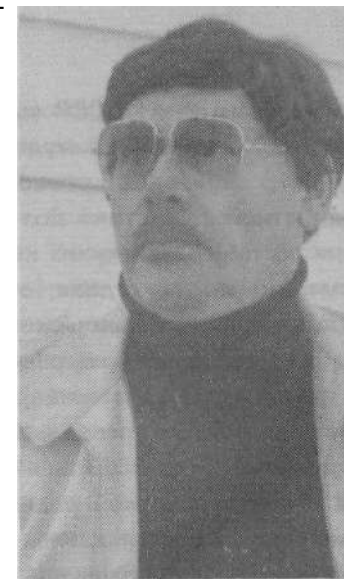
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРАЖА ПЕРЕДОВОЙ ЗАПАДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ.

КАК КГБ ВЛИЯЕТ СЕГОДНЯ НА ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ И О МНОГОМ ДРУГОМ

Объем книги — 432 страницы. Цена — 22 доллара.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
475 Fifth ave, suite 511 -A
New York, New York
10017



Евгений МАНИН

СТРАХ ПЕРЕД РОДИНОЙ

О загадочном и необъяснимом отношении большинства евреев к своей "исторической родине" говорить ныне считается неприличным: неофициальный запрет на эту тему был наложен после 1956 года, когда покойного Бен Гуриона одолела мысль создать "Великий Израиль от Нила до Ефрата". Я нарушаю молчаливое условие не поднимать этого вопроса лишь потому, что за прошедшие с 1956 года тридцать лет успело вырасти новое поколение, которому, быть может, эту загадку удастся разрешить. Я буду называть вещи своими именами, как бы неприятно они ни звучали, тем более речь пойдет о фактах, либо общеизвестных, либо в которых можно удостовериться без особого труда.

* * *

Не берусь утверждать точно, сколько раз правительство Израиля обращалось с просьбой (или требованием?) к международным еврейским организациям, к американским евреям и к правительству США принять меры, чтобы принудить евре-

ев-эмигрантов из СССР эмигрировать не в Соединенные Штаты, а в Израиль. "Принудить" — самое точное выражение для данного случая. Если говорить о доброй воле, то стрелка безжалостной статистики вот уже долгие годы стоит на одном и том же показателе — из каждых 10 эмигрантов 8 отбывают в Америку и только двое (обычно пожилые люди) — в Израиль. Озабоченность израильского правительства можно понять: подобная ситуация дискредитирует саму идею существования Израиля как пристанища для всех евреев мира и особенно — для советских евреев, чьей заветной мечтой считается страстное желание приобщиться к культуре и религии своего народа на его исторической родине. И то, что на практике это желание оборачивается каким-то безотчетным страхом перед возможностью оказаться в Израиле — одна из самых поразительных психологических загадок, когда-либо существовавших в истории. Сегодня это явление пытаются объяснить экономическими трудностями Израиля, террором, ливанской авантюрой Менахема Бегина и десятком других "объективных" причин.

Я помню собственную эмиграцию из СССР так четко, как будто это было не десять лет назад, а вчера. Когда наша группа в 35-40 человек прилетела в Вену, нас приветствовал израильский представитель и предложил тем, кто следует в Израиль, подойти к нему. От нас отделились четверо или пятеро, и тут же между ними и нами возникла какая-то стена странного отчуждения. Один из стоявших рядом со мной придвинулся ближе и прошептал: "А они не могут нас того... в Израиль... с силой или обманом?" Я рассмеялся и ответил: "Не мелите вздор!", — но я кривил душой: у меня самого в душе шевелилось какое-то странное чувство необъяснимого страха. И лишь когда мы оказались под крышей представителя ХИАСа, мы снова стали самими собой. В те времена это поразительное явление объясняли тем, что мы — чокнутые, неполноценный продукт советской системы.

Давайте теперь вообразим, что, выражаясь словами Высоцкого, "по гнусной теории Эйнштейна", мы способны легко и просто передвигаться во времени и пространстве. Давайте от-

скочим ровно на 40 лет назад и окажемся на миг в нацистской Германии 1937 года. Сакраментальная формула "Окончательное решение еврейского вопроса" еще не была произнесена. Но уже позади погромы 1933 года, бойкот еврейских магазинов и предприятий, уже изданы "Нюрнбергские законы", практически ставящие немецких евреев вне закона. Адольф Эйхман еще не известен как главный режиссер "Окончательного решения": он — скромный помощник Фон Мильденштейна, начальника секции II 112 СД, отвечающей за эмиграцию евреев из Рейха. Британское правительство еще не издало пресловутую "Белую Бумагу", и въезд в Палестину пока ничем не ограничен. Сионистские организации ведут яростную пропаганду за эмиграцию евреев на "историческую родину". И что же? К 1937 году из 507 000 немецких евреев эмигрировало лишь 24 000. А в Палестину прибыло только 6 700 человек. Или 28 процентов — статистический показатель колеблется вокруг все той же цифры. Тогда для этого необъяснимого явления находили другую причину: немецкие евреи, "обуреваемые" патриотизмом, проявляли де стремление к ассимиляции и к своему еврейству относились в высшей степени безразлично.

Попробуем теперь уйти в глубь истории и рассмотрим эпоху, известную как Средневековье. Главный факт отметим сразу: в 638 году арабы завоевали Палестину, бывшую до этого византийской провинцией. Незначительное число евреев, оставшихся там (примерно столько же, сколько их было в Палестине, когда туда прибыли первые поселенцы-сионисты в конце 19-го века), — встретило арабов восторженно как своих освободителей (сегодня в это поверить трудно, но это так).

С этого времени приблизительно 10 миллионов евреев, рассеянных по всему свету, могли беспрепятственно въезжать в Палестину. Воспользовались ли презираемые, истязаемые и всюду гонимые евреи этой возможностью? Или на них, как и сейчас, действовал все тот же необъяснимый, инстинктивный страх перед Палестиной?

Первое гонение на евреев в Средние Века произошло в 695 году в Вестготском королевстве, на территории нынешней Испании, где еврейские общины существовали еще со времен

первых римских императоров. Испанским евреям было предложено либо креститься, либо убираться вон. Меньшая часть крестилась, большая — бежала, но не в Палестину, нет, а к своим соплеменникам, жившим в северной Италии (Ломбардии)

Когда арабы в 711 году завоевали Испанию, основав на ее территории Кордовский эмират, тамошние евреи, подобно своим палестинским собратьям, с ликованием встретили освободителей-арабов, а вскоре после этого в Испанию двинулись миллионы евреев из всех стран. Именно там на долгие века образовался всемирный центр еврейской культуры, достигший неслыханного и неповторимого расцвета. Для нас здесь важна одна существенная деталь: и Испания (Кордовский эмират), и Палестина были совершенно равноценными провинциями Арабского халифата, но на "землю предков" не только не вернулся ни один человек, но даже те, кто еще оставался там, начали эмигрировать в Испанию.

Из Франции евреев изгоняли трижды — в 1181, 1254 и 1306 годах. Они уходили в Испанию, Италию и Германию, а когда представлялась возможность, они возвращались обратно, но искать пристанища в Палестине им и в голову не приходило. Изгнанные в 1290 г. из Англии, они пребрались во Францию, чтобы вскоре снова быть изгнанными. Когда в 1492 году пала Гренада, последняя мавританская крепость в Испании, испанским евреям, как 800 лет назад, было приказано либо креститься, либо покинуть страну. И опять, как уже было раньше, меньшая часть крестилась, а сотни тысяч остальных разбрелись по разным провинциям Османской империи или бежали в Голландию, но в Палестину — никто.

Точно таким же образом обстояли дела и в Восточной Европе. Евреи изгонялись из восточных провинций Австрийской империи (1670), из Чехии (1745), из Литвы (1495), из России (1753), — они уходили в Германию и Польшу, возвращались обратно, крутились в этом замкнутом круге гонений и издевательств, но никогда, ни при каких обстоятельствах у них не возникало желания вернуться на землю отцов.

Один эпизод, в этом отношении, особенно любопытен. В 1798 году, во время своей знаменитой Египетской экспеди-

ции, Наполеон Бонапарт, находясь в Палестине, издал специальную прокламацию, в которой призывал евреев всего мира воспользоваться счастливым случаем, собраться на освобожденной от турок своей древней родине и основать свое государство. Глухое молчание было ответом; ни одна из сотен еврейских общин не отреагировала на его призыв: инстинктивный "ужас" перед Палестиной подавлял все остальные чувства.

Все это, однако, не мешало нашим прародителям ежегодно, в праздник Пасхи, поднимать бокалы и торжественно провозглашать: "Башана хабаа б'Ерушалаим!" — "В следующем году — в Иерусалиме!", хотя всерьез никто и не рассматривал эту перспективу. "О, как вы смешны и отвратительны, восклицая это! Как вы похожи на дрессированных скворцов, лопочущих человеческие слова и не понимающих их смысла!" Напиши я сегодня нечто подобное, — меня обвинили бы в антисемитизме, расизме, фашизме и кто его знает, в чем еще. Но эти слова взяты из книги "Сэфер га-Кузари", написанной 800 лет назад Иегудой Галеви, "царем поэтов", гордостью еврейской культуры. Поселившись в Палестине, Иегуда Галеви имел право презирать миллионы других, кто не хотел следовать его примеру.

Мы рассмотрели мощный пласт времени, без малого полтора тысячелетия, и неизменно перед нами фигурировала готовая, сложившаяся картина, характерная и для сегодняшнего дня: абсолютное большинство евреев находится вне Палестины, и никакая сила не в состоянии преодолеть их нежелание вернуться на "землю Израиля". Возникает естественный вопрос: каким же образом сложилась эта беспрецедентная в истории ситуация? На первый взгляд, ничего нелепее подобного вопроса быть не может, поскольку заранее известен ответ: наши предки были насильно изгнаны со своей земли и оказались единственным в мире народом, лишенным родины. Это в дальнейшем и привело ко всем несчастьям, выпавшим на его долю, вторая часть ответа — бесспорна и не требует никаких комментариев. Что касается первой части, то любой читатель может проделать интересный и в высшей степени несложный опыт. Найдите первые попавшиеся десять человек и задайте

им один и тот же вопрос: когда, кем и за что миллионы палестинских евреев были изгнаны со своей земли? К вящему вашему изумлению, вы услышите: что евреи были изгнаны после разрушения Титом Веспасианом Иерусалима и Второго храма (70 г.), что евреи были изгнаны после разгрома восстания Бар-Кохбы (135 г.); что император Констанций II изгнал евреев за восстание против губернатора Иудеи Галла (351 г.); что византийский император Гераклий изгнал евреев за их сочувствие и помощь персам (628 г.); что евреи были изгнаны при "оккупации" Палестины арабами (638 г.). Есть еще множество вариантов, я привел лишь самые популярные из них. Любой непредвзятый человек сделает из сказанного выше три сами собой разумеющиеся вывода:

если точная дата изгнания колеблется в пределах почти пяти столетий, то уже одно это делает событие неправдоподобным;

если учесть, что приведенные выше исторические факты сами по себе достоверны, то оказывается, что в течение всех этих пяти столетий евреи все-таки находились в Палестине;

поскольку ни один сколько-нибудь заметный исторический или литературный труд всей этой эпохи даже вскользь не упоминает о таком чудовищном событии, как единовременное изгнание миллионов людей с их земли, — остается предположить, что "изгнание" — это легенда, придуманная сознательно в каких-то определенных целях.

Но как и когда родилась эта легенда? Чтобы ответить на этот вопрос, продедаем маленькое, но весьма полезное лингвистическое изыскание.

Как известно, для определения евреев, живущих вне Палестины, традиционно существуют два термина: древнееврейский — "галут" и греческий — "диаспора". Галут, что буквально означает "изгнание", — был первоначально определением, применяемым к евреям, действительно насильно изгнанным из Палестины в Вавилонию после разрушения Иерусалима Навуходоносором в 586 г. до н.э. Термин "диаспора", что по-гречески означает "рассеяние", впервые употребили в своих посланиях апостолы Петр и Иаков, называя так общины евреев, живущих вне Палестины и не желавших туда возвращаться.

До 9 века понятия "галут" и "диаспора" были совершенно равноценными, и если бы кто-нибудь сообщил евреям той эпохи, что такой-то император в таком-то году изгнал их из Палестины, — они были бы безмерно удивлены. Необходимо заметить, что эта эпоха имела свои характерные особенности. К этому времени практически уже все евреи жили вне Палестины, и их нежелание вернуться туда было так же необъяснимо, как и сегодня. Многочисленные раввины и ученые теологи оказались перед насущной необходимостью каким-то образом объяснить это почти мистическое явление, не поддающееся никакой, самой хитроумной и изощренной казауистике. С другой стороны, десятки миллионов средневековых христиан, с суеверным ужасом взирали на это более чем странное явление: целый народ, богатый, многочисленный и культурный, жил рассеянным по всему миру, презираемый и гонимый из страны в страну, могущий в любой момент вернуться на свою утраченную родину и не делающий это. Христианские священники и теологи также стояли перед необходимостью как-то объяснить своей пастве это невероятное явление. И это объяснение было дано в виде появившейся в IX веке легенды об Агасфере, иначе называемом Вечным Жидом, — явившейся своеобразным дополнением к Новому Завету.

Напомню вкратце содержание легенды. Когда Иисус, сгибаясь под тяжестью креста, шел в свой последний путь — на Голгофу, он остановился возле дома некоего иерусалимского башмачника по имени Агасфер, чтобы перевести дыхание и вытереть кровавый пот со лба. Агасфер, стоявший возле дома, толкнул Иисуса и сказал:

— Что же ты медлишь? Иди, куда тебе назначено идти!

— Я пойду, — ответил Иисус, но и ты пойдешь и будешь ходить вечно, пока я не приду обратно.

Едва свершилась казнь Иисуса, Агасфер почувствовал, что некая непреодолимая сила гонит его прочь из родного дома. Она гнала его из города в город, из страны в страну, из года в год, из века в век, не давая возможности ни умереть, ни остановиться, ни вернуться на родину. Таково было возмездие за совершенный грех.

— Вот почему христубийцы-евреи, — говорили проповедники с высоты амвонов своим прихожанам, — подобно Вечному Жиду-Агасферу, странствуют, гонимые, из страны в страну и не могут возвратиться в Иерусалим, вплоть до второго пришествия.

Если рассматривать легенду о Вечном Жиде с чисто художественной точки зрения, то ее достоинства бесспорны: трагический образ Агасфера, олицетворяющий гонимый и проклятый богом еврейский народ, вдохновил Шуберта, Гете, Ленау, Жуковского, Эжена Сю и многих других на создание своих шедевров, основанных на этом сюжете. Но если говорить о евреях, то ничего более оскорбительного и унижительного для них придумано быть не могло. И тут нам придется столкнуться с явлением, не менее поразительным, чем страх евреев перед Палестиной. Именно эта оскорбительная легенда помогла озабоченным раввинам дать столь желанное мистическое толкование рассеянию сынов израилевых. То, что евреи за грехи отцов изгнаны божественной силой со своей земли и рассеяны по свету, отлично укладывалось в известные слова пророка: "И рассею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя. И сделаешь сам себя презренным пред глазами народов..." Положение же о том, что евреи обречены скитаться до второго пришествия, также было трансформировано — в идею освобождения и возврата в Иерусалим после прихода мессии. Это гармонировало и с другими предсказаниями того же пророка: "Я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость Мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей... Многочисленные теологи и философы разработали эти две доктрины подробнейшим образом, и на этом кончилось состояние неуверенности, вызванное нежеланием евреев возвращаться на землю предков. Правда, начиная с этого времени, один за другим появляются мессии, объявляющие, что они — именно те, кого все с таким нетерпением ждут, и отныне уже можно спокойно возвращаться в Палестину. Но это были бесплодные усилия: каждого такого мессию немедленно объявляли лжемессией, и его миссия на этом заканчивалась.

Последняя такая попытка была сделана в 1665 году Авраамом Абуляфией, и после нее поток мессий иссяк. В этой связи любопытно отметить, что ультраортодоксальные евреи Израиля верны этой доктрине и сегодня не признают поэтому законность существования Израиля как государства.

Первые несколько столетий понятие "изгнание" носило как ему и положено было, чисто мистический характер и связывать эту символику с каким-либо реальным фактом никому и в голову не приходило. Все изменилось с наступлением 18-го века, "Века просвещения". Желчный и насмешливый Вольтер сделал из католицизма и иудаизма, одинаково склонных к мистике, всеобщее посмешище. Энциклопедисты создали рационалистическую школу, видевшую во всем, даже в греческих мифах, нечто конкретное и реальное. Тогда-то символическое "изгнание" и начало сопоставляться с реальными историческими фактами, тогда-то и родились все версии, столь популярные ныне.

Традиция делает чудеса, превращая самую нелепую легенду в неопровержимую аксиому, и казус с "изгнанием" — ярчайший тому пример.

До 1956 года ни один серьезный историк не опускался до такой пошлости, как называть конкретную дату "изгнания". Вот, например, как начинает главу "Диаспора" Мейер Баркай в своей "Истории еврейского народа" (1952): "Необходимо сразу отметить, что "изгнание" не было, как это ошибочно полагает большинство людей, конкретным историческим событием, например — следствием разрушения Иерусалима Титом. Фактически множество еврейских общин и поселений вне Палестины существовало уже на протяжении столетий, до разрушения еврейского государства. Уничтожение Палестины как религиозно-эмоционального центра еврейского народа лишь создало предпосылку для того, чтобы считать себя "изгнанными" из "оскверненного Сиона". После Синайской кампании 1956 года, а особенно после Шестидневной войны 1967 года, подобные высказывания стали считаться "непатриотичными" и "льющими воду на мельницу"...

После всего сказанного должен возникнуть законный во-

прос: чем же все-таки объяснить тот поразительный факт, что целый народ оказался вне своей земли? Здесь мы должны сразу разграничить два различных аспекта этого вопроса: "почему" и "как". Причину этого явления я объяснить не могу и совершенно откровенно в этом признаюсь. Но процесс этого необъяснимого явления мы можем рассмотреть во всех подробностях.

Для лучшего понимания рассмотрим таблицу, показывающую соотношение величин еврейского населения Палестины и диаспоры в различные периоды истории. Для таблицы использованы следующие источники: А.Барон, "Социальная история Израиля"; "История Древнего Востока", Оксфорд-пресс; ежегодник "Израиль сегодня".

Дата	Население Палестины (проц.)	Население диаспоры (проц.)
8 век до н.э.	100	—
5 век —" —	60	40
3 век —" —	50	50
1 век н.э.	43	57
6 век	10	90
8 - 19 вв.	—	100
1903 г.	4	96
1939 г.	2.3	97.7
1948 г.	5.3	94.7
1983 г.	23.4	76.6
1986 г.	29.5	70.5

О двух последних датах таблицы мы поговорим несколько позже, сейчас же мы можем констатировать один непреложный факт: в течение 16-ти столетий — с 8 в. до н.э. по 8 в.н.э. — наблюдался непрерывный исход евреев из Палестины, причем этот процесс протекал непрерывно, вплоть до того момента, когда, за исключением ничтожно маленькой общины, Палестина была окончательно оставлена евреями. Для начала ответим на вопрос: с чего все началось?

В социальной жизни людей Древнего Мира родина играла

совершенно исключительную роль. Ни отдельный человек, ни более или менее крупная группа людей не мыслили себя живущими вне своей земли и вне своего народа, на чужой земле.

При этом на Востоке чувство родины было многократно сильнее, чем на Западе. Заставить китайца, индуса, шумера или египтянина жить на чужбине — означало убить их. Исключение появилось неожиданно и необъяснимо, и этим исключением стали наши отдаленные предки, жившие в Израильском царстве.

При фараонах XXVI Саисской династии (663-525 гг. до н.э.) Египет переживал эпоху упадка, предшествовавшую его падению. Фараоны не доверяли ни своим соотечественникам, ни ливийцам, ни нубийцам. Основатель династии, фараон Псамметих Первый, для защиты северных (морских) и южных (пустынных) границ Египта решил построить крепости и поставить в них гарнизоны чужеземных наемников, получающих от него плату и связанных с ним личной присягой. Наемниками, охраняющими северную границу, оказались греки. Наемниками, охраняющими южную границу, неожиданно стали израильтяне. Несколько тысяч человек, с семьями, ушли из Палестины и поселились на острове Элефантина (евр. Ев), вблизи нынешнего Ассуана. Между ними и теми, кто остался в Израиле, сразу встала стена отчуждения. Элефантийские евреи построили свой собственный храм (что было строгойше запрещено законом), и их связь с родиной с течением времени делалась все менее заметной.

Это был первый в истории евреев уход из Палестины, уход добровольный, никакими событиями не вызванный, явившийся первым шагом ко всеобщему исходу из Палестины.

Второй шаг в этом направлении был связан с одним из самых трагических событий еврейской истории — разрушением Иерусалима и Первого храма царем Халдеи Навуходоносором в 586 г.до.н.э. По обычаю тех времен, "лучшие люди Израиля" — священнослужители, знать, землевладельцы и наиболее умелые ремесленники (всего около 15 тыс. человек) — были угнаны в Вавилонию. "Вавилонский плен" продолжался полвека (586-536), и это было самое настоящее изгнание — "галут".

От этого периода остались знаменитые, ныне всюду и везде цитируемые слова 136-го псалма: "Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя!" Не может быть двух мнений о поэтической эмоциональной силе этих слов. Что касается действительного положения дел, то тут обстоит гораздо сложнее. В 538 году Халдея пала и, подобно Египту, стала провинцией Персидской империи. Кир Великий издал особый указ, по которому все угнанные в Вавлонию пленники (в том числе и евреи) получили разрешение вернуться на родину. К этому времени еврейская община Вавилона значительно увеличилась (около 50 тыс. человек). Ее члены обзавелись семьями, разбогатели, и многие из них стали людьми влиятельными. И тут произошел казус, не менее поразительный, чем уход евреев в Элефантину, но оказавший огромное влияние на всю дальнейшую историю евреев. Когда в 536 году было решено возвращаться в Палестину, между изгнанниками произошел раскол: едва ли пятая часть их двинулась в обратный путь, остальные отказались наотрез возвращаться на землю отцов, пообещав посылать в Палестину денежную помощь.

Первый и единственный за всю историю "галут" закончился, изгнанников больше не существовало: кто хотел — вернулся, а оставшиеся автоматически превратились в "диаспору" — общину, живущую вне Палестины.

В период своего наивысшего расцвета (2-3 вв. н. э.) Вавилонская диаспора составляла свыше 500 000 человек, обладала огромными богатствами и влиянием и являлась духовно-религиозным центром еврейства: здесь был создан свой собственный Вавилонский Талмуд, здесь процветали свои собственные "академии" — ешивы, и выросла плеяда блестящих теологов. С переходом духовно-религиозного центра в Испанию значение Вавилонской диаспоры падает, ее члены покидают Месопотамию и перебираются — не в Палестину, нет — в Испанию. Значение этой диаспоры огромно. Здесь, впервые в нашей истории, проявилась странная тенденция, непрерывно действовавшая затем в течение 25 столетий и наблюдаемая сегодня: при наличии свободного права выбора абсолютное большинство евреев, находящихся вне Палестины, предлочи-

тает держаться от нее подальше и оказывать моральную и материальную поддержку тем, кто находится в Палестине.

Александрийская диаспора — последняя, о которой здесь пойдет речь.* Первые евреи эмигрировали из Палестины в Александрию вскоре после того как Александр Великий основал в покоренном Египте столицу своей мировой империи, (332 г. до н.э.) Александрийская община, как и Вавилонская, сыграла огромную роль в дальнейшей еврейской истории. Менее чем век спустя после основания города местная еврейская община была самой богатой, самой влиятельной и самой многочисленной. (К 1 веку н.э. число александрийских евреев доходило до миллиона — седьмая часть всего тогдашнего еврейского населения, и из пяти городских районов-кварталов — два принадлежали евреям). Я испытываю неодолимый соблазн провести аналогию в отношениях между евреями Палестины и Александрии и евреями Израиля и Америки. Александрийские евреи подвергались быстрому и все ускоряющемуся процессу эллинизации: они носили греческие имена и греческую одежду, они знали только греческий язык, вели чисто греческий образ жизни, и смешанные браки были обычным явлением. Не зная древнееврейского языка, александрийские евреи были не в состоянии читать Библию и все в большей степени становились греками. Иерусалимский Синедрион взирал на все это с отвращением и гневом, но был бессилён: и Храм, и Синедрион могли существовать лишь благодаря финансовой помощи Александрийской диаспоры. Ввиду этого, было принято беспрецедентное в еврейской истории решение: для сохранения Александрийской диаспоры в лоне иудаизма 72 иерусалимских "толковника" — знатоки Торы создали греческую версию Библии — Септуагинту (255-247 гг. до н.э.) Этот шаг имел огромные последствия, с ним связано появление антисемитизма, как мы понимаем это явление сегодня, но это — тема для отдельной статьи.

С Александрийской диаспорой связан первый в истории еврейский погром (40 г. н.э.) и последовавшая за этим самая

*На самом деле во всех крупных центрах Персидской империи существовало бесчисленное множество еврейских общин.

настоящая греко-еврейская война, прекратившаяся лишь после вмешательства императора Клавдия. Вскоре после того как христианство стало официальной религией Римской империи, архиепископ александрийский Кирилл после долгих и настоятельных просьб получил от императора Феодосия II разрешение на изгнание евреев из Александрии (412г.) Но изгнанники опять же и не подумали возвращаться на землю предков и остались в диаспоре, расселившись, главным образом, в Месопотамии и Киренаике (Северная Африка) .

Теперь, когда рассматриваемый вопрос стал достаточно ясным, можем вернуться из далекого прошлого в прошлое совсем недавнее. Можно понять местечкового еврея из-под Белостока или Бердичева, уверенного в том, что его предков некогда поголовно изгнали из Палестины, поскольку эту басню ему накрепко вбили в голову, когда он еще сопливым мальчишкой бегал в хедер. Можно понять ортодоксального еврея, верящего в ту же басню: ему это "по штату" положено. Можно понять и большинство наших современников, которым просто некогда пускаться в исторические изыскания, поэтому они берут на веру то, что говорится и пишется в телепередачах и популярных изданиях. Но вот "отцов-основателей" Израиля, людей блестяще образованных, к тому же — социалистов, презирающих религиозные догмы, понять нельзя. А ведь именно "отцы-основатели", поместив басню об "изгнании" в Декларацию Независимости Израиля, как бы официально узаконили ее, отлично понимая, что это — не более чем басня: "Насильно изгнанный со своей родины, народ остался верен ей во всех странах своего рассеяния, не переставал надеяться и уповать на возвращение на родную землю и на возрождение в ней своей политической независимости".

Не правда ли, этот пассаж звучит несколько странно, когда 80 процентов советских евреев-"изгнанников" — "ношрим" — прямиком отправляются в Америку, забыв о своей верности родине? Это звучит еще более странно, если вспомнить, что, как и в былые времена, абсолютное большинство евреев (свыше 70 процентов) желают быть "изгнанниками" и немышляют о возврате на родину. И это становится совсем уж

непонятным, если учесть, что за последние десять лет установилась твердая тенденция к отъезду из Израиля коренных израильтян-сабр, именуемых в этом случае "йордим". Официальная статистика говорит о 20 тысячах "йордим" в год. У меня есть все основания полагать, что их, по крайней мере, втрое больше, но дело не в этом: сам факт бегства коренных израильтян, как и тысячелетия назад, говорит о том, что необъяснимая идиосинкразия евреев к Палестине была, есть и, по-видимому, будет всегда.

Сейчас мало кто помнит и говорит правду о тех временах, когда образовывался Израиль. Эта правда растворилась в океане слащаво-сусальной псевдоисторической литературы. Именно поэтому только что вышедшая, переведенная на основные европейские языки и сразу ставшая бестселлером книга известного израильского журналиста Тома Сегева "1949. Первые израильтяне" — вызвала у молодых израильтян и зарубежных евреев ощущение электрического шока. Эта книга — по-своему уникальна, в ней практически нет авторского текста, в ней только документы: рассекреченные государственные архивы, стенограммы заседаний Кнессета, личные дневники ведущих политических деятелей, журнальные и газетные статьи того периода. Со всем этим в полемику не вступишь, остается лишь молчать и поражаться. Среди всего прочего, в книге рассказывается о категорическом нежелании европейских евреев после войны и Катастрофы ехать в Израиль (!), о том, как их туда заманивали посулами, обманом и шантажом, о том, как, приехав, они начали немедленно рваться обратно, а их помещали в "спецпоселения", обнесенные колючей проволокой, со сторожевыми вышками. Приводится высказывание английского журналиста, побывавшего в таком "поселении": " В историческом смысле, наличие подобных лагерей в Израиле — самая страшная ирония, какую только можно себе вообразить. Евреи держат евреев в лагерях. Кажется, они не сделали никаких выводов из собственной трагедии". Таким вот бывало "радостное возвращение на родину".

Перед тем как поставить точку, я хотел бы привести еще одно любопытное свидетельство буквально сегодняшнего

дня. 3 января 1987 года состоялось заседание Филадельфийской секции Всемирной Сионистской Организации. На заседании секции выступил ее представитель в Израиле, Дэн Крэкоу, специально приехавший для этого в Штаты. Несмотря на это, в общем заурядное событие, газета "Филадельфия Инквайрер" на следующий же день опубликовала текст этого выступления (очевидно, ввиду его некоторой необычности). "Когда американцы выезжают на жительство в Израиль, — сказал Крэкоу, — половина их в скором времени возвращается обратно. Американским евреям сделать это нетрудно — нужно лишь захватить в аэропорт и взять билеты на самолет. Я беседовал в Израиле с советскими и эфиопскими эмигрантами. "В России лучше, чем в Израиле", — говорят первые; "В Эфиопии лучше, чем в Израиле", — говорят вторые. Но им некуда уезжать, и они остаются там". Чтобы закончить поднятую тему, лучшей иллюстрации мне не требуется.



Ефим МАНЕВИЧ

ПРАВДА ИСТОРИИ И ЭПАТАЖ ЕВГЕНИЯ МАНИНА

Моше Даян однажды заметил: "Некоторые люди имеют четкие ответы на несуществующие проблемы и нечеткие — на проблемы, действительно существующие". Эти слова невольно приходят на память при чтении статьи Е.Манина "Страх перед родиной".

Существует проблема отношений Израиля и диаспоры, но сам Евгений Манин сообщает в начале статьи, что по этому поводу "никакой гипотезы не будет просто потому, что я не могу объяснить загадку отношения евреев к Палестине".

И потому он обращается к проблемам надуманным, существующим исключительно в его собственном воображении.

"О необъяснимом отношении абсолютного большинства евреев к своей "исторической родине" ныне говорить открыто считается неприличным: неофициальный запрет на эту тему был наложен после 1956 года, когда покойного Давида Бен-Гуриона одолела мысль создать "Великий Израиль от Нила до Ефрата", — утверждает Е.Манин.

Похоже, что автор попросту ломится в открытую дверь, ибо тема отношений между Израилем и диаспорой — одна из самых обсуждаемых с первых дней образования еврейского государства.

Кстати, Бен-Гуриона никогда не одолевала мысль о Великом Израиле (сама фраза больше подходит для книги какого-нибудь советского антиссионистского пропагандиста, типа Иванова). Бен-Гурион отличался весьма сдержанной политикой в вопросе территорий. Не случайно, его верный ученик и товарищ по партии РАФИ, нынешний израильский министр иностранных дел Шимон Перес столь рьяно настаивает на возвращении арабам Иудеи и Самарии. Какой уж тут Великий Израиль!

Отношение евреев к Израилю Евгений Манин характеризует исключительно в драматических тонах: "безотчетный страх" "инстинктивный страх", "необъяснимый страх". Рассказывая о своей собственной эмиграции, он признается, что у него в душе шевелилось какое-то странное чувство "необъяснимого страха" оказаться в Израиле.

Конечно, это — сенсационный и эпатажный публику способ объяснения действительности: некий мистический страх овладевает каждым евреем, когда ему предстоит переселиться в Палестину. Правда, из этой теории выпадают, например, 200 тысяч бывших советских граждан, которые совершенно "бесстрашно" репатрировались в Израиль.

Видимо, все же исход евреев из Эрец Исраэль объясняется не мистикой, а вполне реальными трудными условиями жизни в этом краю, зачастую сопровождавшимися " семью тощими годами" голода. Когда наш праотец Яаков и его одиннадцать сыновей прибыли в Египет по вызову Иосифа, они сказали фараону: "Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих; ибо в земле Ханаанской сильный голод" (Бытие, 47-4). Пожалуй, это и был первый зарегистрированный случай "ериды", то-есть ухода евреев из Святой Земли. На протяжении тысячелетий еврейская жизнь в Палестине находилась под прессом жестокого противоречия: с одной, стороны, почти непереносимые условия жизни, тяжесть

соблюдения всех предписаний иудейской религии, бесконечные войны, и с другой стороны, относительная обеспеченность и безопасность жизни в галуте. В результате история Эрец Исраэль состоит из чередующихся периодов алии и ериды, но никогда и ни при каких условиях еврейская жизнь не затихала там вплоть до того трагического момента, когда Иерусалимский Храм был сожжен по приказу римского императора Тита.

Это событие оказало столь ужасное влияние на всю еврейскую судьбу, что по последствиям его можно сравнить лишь с Катастрофой. Даже приверженец Тита, еврейский историк Иосиф Флавий не мог умолчать о зверствах римлян во время сожжения храма: "Повстанцы уже не могли ничему помочь: всюду были убийства и кровавые схватки. В большинстве жертвою пали мирные жители, слабые и безоружные. Изловив их, римляне безжалостно их убивали. Возле алтаря росла гора трупов, и вдоль ступеней святилища текла река крови, и тела убитых наверху скользили по ступеням вниз".

Оплот еврейской веры, источник гордости и духовной силы народа был разрушен и поруган, и вместе с ним евреи потеряли свободу и родину. Даже неевреи сумели понять эту невосполнимую потерю, и их чувства лирически выразил Байрон, писавший о народе, "чей Храм опустел, чья отчизна — лишь греза в печали. О, плачьте о том, что Иудова арфа разбилась, в обители Бога безбожных орда поселилась!"

Возможно, для нашего автора этот момент еврейской истории кажется столь незначительным, что он может взять на себя смелость заявить: "Изгнание" — это легенда, придуманная сознательно, в каких-то определенных целях". Но ведь в этом и состоит галутская психология: пришли чужаки, изнасиловали жену и дочерей, разграбили имущество, надругались над всеми святынями, а хозяин дома заявляет: "Меня никто не выгонял". (В конце концов, и из Союза формально нас никто не изгонял, просто там позаботились сделать нашу жизнь невыносимой.) И как реакция на трагическое положение, как проявление веры в грядущее спасение возникло предание о том, что в день разрушения храма родился Мессия, который

находится где-то, но грядет день, он придет и освободит еврейский народ.

Вера в приход Мессии представляет собой один из важных атрибутов иудейской религии. Главное расхождение между иудаизмом и христианством заключается в том, что евреи не признают Мессию в Иисусе Христе, тогда как христиане считают, что Христос и есть Мессия.

Для средневекового еврея вопрос о "самовольном" переселении в Палестину до прихода Мессии попросту не возникал. Все, что от него требовалось, это верить и терпеливо ждать часа освобождения, когда, как утверждали мудрецы, Избавитель снова соберет весь народ в Эрц Исраэль, и Иерусалимский Храм будет восстановлен. С другой стороны, даже если бы нашлась большая группа евреев, желающая переселиться в Палестину, они не нашли бы для этого достаточных средств и были бы обречены на голодную смерть. Ведь и в XX веке потребовалась мощная экономическая поддержка, чтобы первые переселенцы смогли обосноваться в этом краю.

Положение существенно изменилось в эпоху ассимиляции и возникновения сионизма. Многие евреи, прошедшие ассимиляционный процесс, следом за основоположниками сионизма начали искать в алии способ решения своих социальных проблем и прежде всего спасения от антисемитизма.

В наши дни уже возникло такое смешение понятий, что в Израиле, например, в число "ношрим", то-есть отсеивающихся по дороге в страну, зачисляют и тех, кто по самым вольным критериям не может считаться евреем. Этот вопрос настолько существенен, что на нем стоит остановиться подробнее.

Нынешние евреи, в отличие от древних, не имеют общего языка, культуры и обычаев. Многовековое рассеяние, бесправное положение евреев в тех странах, где они проживали, неизбежно привело к широкому кровосмешению, так что, кто из нас кто по крови, трудно сказать. Еврею не возбраняется быть "полукровкой", что, кстати, получило подтверждение на недавно прошедшем в Иерусалиме семинаре по искусственному оплодотворению.

Хотя мы и привыкли к словосочетанию "типичный еврей",

но это понятие совершенно лишено смысла. Недавно лондонский "Экономист" опубликовал письмо еврейского писателя Лео Ростена, живущего в Америке, которое содержало, в частности, следующее высказывание: "Что же касается "облика", то до чего комично: принц Чарльз выглядит совершенно по-еврейски, а Папа Римский даже более похож на еврея, чем моя бабушка. Вообще, кто в наше время больше всех "выглядит", как еврей? Геббельс и Арафат! Самое истинное "арийское лицо", когда-либо виденное мною, имеет Иегуди Менухин".

Традиционный подход отрицает существование еврейской нации. Морис Гюдемманн, главный раввин Вены, в памфлете-отклике на труд Герцеля "Еврейское государство" прямо утверждал, что евреи — не нация, и единственный общий момент для всех евреев — это вера в Бога, а сионизм не совместим с изучением иудаизма.

Даже атеист Герцель, будучи не в состоянии отрицать очевидные факты, писал в своей книге: "Я полагаю, что еврейский вопрос представляет собой не социальную, а религиозную проблему, хотя иногда он принимает те или иные формы".

Таким образом, если еврейство — это не национальная принадлежность, а вероисповедание, то для большинства ассимилированных евреев вопрос о репатриации лишен актуальности.

Мы, родившиеся в России, говорящие по-русски, как любят говорить, "пронизанные русской культурой", не имевшие ни малейшего серьезного понятия о еврействе, оказались "лицами еврейской национальности" только потому, что наши бабушки и дедушки ходили в синагогу. Те, кто крестились, исчезли бесследно. Простые подсчеты показывают, что в условиях "нормальных народов" евреи должны были бы насчитывать сегодня порядка 300 миллионов.

И вот тут мы подходим к той парадоксальной ситуации, в которой оказался сегодня наш народ: верующему еврею нет необходимости репатрироваться в Палестину, ибо Мессия еще не пришел, а еврею ассимилированному в Палестине нече-

го искать, потому что он и не еврей уже вовсе, ибо отказ от веры в Бога, по религии Моисея, есть отказ от еврейства.

Напрасно Евгений Манин иронизирует по поводу ежегодного еврейского заклинания "Башана абаа бирушалаим!" — "В будущем году — в Иерусалиме!" Настоящий еврей, то-есть религиозный, вкладывает в эти слова глубокий смысл. Критики еврейства склонны опускать важное дополнение к этой фразе: еврей говорит не просто "бирушалаим", а "бирушалаем абнуня" то-есть, "в будущем году — в восстановленном Иерусалиме". Иными словами, это призыв Мессии, освобождения, а не обещание переселиться в Палестину. Более того, согласно ортодоксальной традиции, "самовольная" алия может лишь помешать приходу Мессии, и потому евреи этого течения всегда выступали против сионизма.

Евгений Манин ошибочно полагает, что существовали некие периоды свободного въезда в Эрец Исраэль, которые не были использованы евреями. К сожалению, эта свобода была лишь кажущейся. В частности, он утверждает, что, вопреки "яростной пропаганде" сионистов, из 507 000 немецких евреев эмигрировало 24 000.

К несчастью, причина заключалась опять-таки не в мистике, а во вполне реальной преграде: для получения разрешения на выезд в Палестину англичане требовали от каждого потенциального репатрианта имущественный ценз в 1000 английских фунтов (около 5 000 долларов), тогда как уже в 1933 году евреям запрещалось вывозить из Германии ценности. Если бы не эта преграда, можно не сомневаться, что подавляющее большинство немецких евреев, за неимением другого выбора, переселились бы в Палестину и таким образом были бы спасены.

Сегодняшняя ситуация похожа на ту, которая существовала в конце прошлого — начале нынешнего века, когда миллионы русских евреев бежали от погромов в Америку, и лишь считанные смельчаки-пионеры отправлялись в Палестину. Вместе с тем существование Государства Израиль серьезным образом отличает эти два исторических момента.

Сионизм не разрешил основных проблем еврейского наро-

да. Ему так и не удалось собрать всех или хотя бы большинство евреев на исторической родине и обеспечить их безопасное существование. Парадокс заключается в том, что именно Израиль — единственное место на земле, где евреям угрожает сегодня опасность тотального истребления. Более того, как и прежде, какое-то количество коренных жителей покидает страну (кстати, Е.Манин необоснованно преувеличивает действительное число йордим в три раза).

Нет ничего нового ни в "ериде", ни в том, что ассимиляция разъедает еврейскую массу в диаспоре. Но вместе с тем, и сегодня не гаснет свет иудаизма, предохраняющий евреев от полного исчезновения, как это случилось с их древними соседями филистимлянами и амалекитянами. Так, может, и вправду нам остается сидеть и мирно ждать прихода Мессии, который снова соберет всех евреев "бирушалаим абнуня"?

"МНОГОГОЛОСЫЙ МИР" ПЕТРА ПИЛЬСКОГО

Имя Петра Моисеевича Пильского (1876-1942) мало что может сказать современным читателям, несмотря на то, что в 20-е — 30-е годы он занимал в русском литературном зарубежье (в Прибалтике) почти такое же положение, какое в Париже занимали В.Ходасевич и Г.Адамович.

Свою литературную деятельность он начал в петербургской газете "Курьер" в 1902 году. Позднее стал ведущим сотрудником газеты "Биржевые ведомости". Его журналистский талант высоко ценили А.Блок, И.Бунин и в особенности А.Куприн, с которым его связывала близкая дружба. Пильский бывал частым гостем на средах у Вячеслава Иванова в его знаменитой "Башне", причем именно он привел туда и познакомил с В.Ивановым Корнея Чуковского.

Пильский-критик одним из первых обратил внимание на творчество Булгакова и Зощенко, посвятив им целую серию статей и всячески помогая выходу их произведений на Западе. Свои статьи он подписывал разными псевдонимами: П.Стогов, Петроний, Р.Вельский.

Пильский с верой и надеждой думал и писал о судьбах русской литературы в СССР и в эмиграции. Что ждет литературу? Каково ее настоящее и будущее? В 1930 году, отвечая на вопрос парижского журнала "Числа", "переживет ли современная литература свой упадок?", он писал: "Упадок" звучит зловеще, как другое слово — "расцвет" — кажется слишком пышным. Может быть, речь идет об упадке не литературы, а писательских настроений? Он есть. Как бы ни притворялись бодрыми и воинствующими советские писатели, легко угадывается их душевное сникание, внутренняя вялость, нервная взвинченность, — в конце концов, усталость. Понижение настроений чувствуется и у многих зарубежных авторов. Конечно, оно выражается по-иному. Чаще всего его выдают темы. Все же, если сравнить, здесь бодрости больше, чем там.

Публикуемые воспоминания П.Пильского помогут нам услышать голоса прошлого и чрезвычайно живо представить себе образы его современников: ушедшего в себя оригинала и мистика Розанова, певца интимной жизни, не имевшего двойника среди современников; блестящего и романтического Блока, истинного гения русской поэзии; литературного шамана Белого, тонущего в хаосе собственных страстей и мыслей; исполненного широты и обаяния Амфитеатрова; женственно-лицемера и хамелеона Ясинского; талантливого и нервически-зыбкого Бабеля... Перед нами целый мир, образный и живописный, куда уходит истоками современная литература и который не может оставить равнодушным читателя.

Григорий ПОЛЯК

Петр ПИЛЬСКИЙ

О ТЕХ, КОГО Я ЗНАЛ

В. В. РОЗАНОВ

1

Как мало интересных людей!.. Горсть! Что такое "интересный"? Урод! В психологическом отношении это — то же, что заспиртованные головастики, люди с тремя руками или безхвостые обезьяны. "Интересные" — неожиданность. Они — исключение. Ум, красота, сила, даже талант — обыкновенное. Но "интересные" — редкость.

Таким интересным, единственным, ни на кого не похожим был В.В.Розанов. Недаром многие смотрели на него, как на некое явление.

— Он был, — говорит З.Н.Гиппиус, — до такой степени не похож на других людей, до такой степени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно назвать "явлением", нежели человеком.

Это метко. Но как бы ни стремиться к абстрагированию, как ни заменять человека схемой, жизнь — формулой, Розанов остается реальным существом, человеком, писателем.

Он был странный и странствующий.

Умственное кочевничество в эту четверть века в России стало распространенным. Эта одержимость у нас окрасилась при- темненным светом какого-то сквозного нигилизма, как бывает сквозной ветер. И, собственно, в идейном странствовании Розанова нет ничего ни удивительного, ни исключительного.

Его эпоха не шла ровным шагом, а бежала, все время при- падая то на одну ногу, то на другую. Стремилась, волочась. Интерес розановской личности заключался в том, что он был еще и странен.

И одной из сторон его общей странности было его одиноче- ство. И оно казалось особенным. Эта внутренняя отгорожен- ность не заслоняла мира и не строила глухой стены. Эти пере- городки были сквозные. Через них Розанов был виден миру, и мир был виден ему. Но оба друг от друга были занавешены. Разделяющую грань не переступали. Полного сближения не было. В обоих жило большое и острое взаимное любопытство. Но и оно было необычно. В этом взаимном прищуренном раз- глядывании таилось недоверие, это недоверие происходило от незнания, потому что даже интеллигенция, даже писатели не знали Розанова, как и он в свою очередь не знал мира, людей и жизни. Отсюда — скептицизм, из скептицизма — неприязнь. Скептицизм и неверие, т.е. неуверенность, — обычные спутни- ки неведения. И Розанов боялся, а мир его отрицал.

2

Впрочем, уединенная душа Розанова была обречена некое- му отшельничеству еще и его некрасивостью. Он этим тяготил- ся. Себя, внешнего, он не любил и этим мучился. В своей за- мечательной книге ("Уединение") он так и записал:

"Неестественно-отвратительная фамилия дана мне в допол- нение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом про- стаивал перед зеркалом... "Сколько тайных слез украдкой" пролил. Лицо красное. Волоса... Торчатверху... какой-то под- нимающейся волной, совсем нелепо, и как я не видал ни у ко- го. Помадил я их, и все — не лежат. Потом домой приду, и опять — зеркало: "Ну, кто такого противного полюбит?"

Просто ужас брал... В душе думал: женщина меня никогда не полюбит, никакая. Что же остается? Уходить в себя, жить с со- бой, для себя (не эгоистически, а духовно), для будущего?.."

Это было горькое чувство. В нем надо искать корень роза- новской трагедии. Для него она была особенно тяжка. Надо помнить, что "пол" для него играл первенствующую роль. Все свое мироистолкование Розанов сводил к этой "проблеме". В его философии пол родился с Богом, и разгадка и восприя- тие божества им чужались не в путях ума, а все там же и в том же — в поле.

Этот вопрос его беспокоил. Розанов был им навеки растре- вожен. В этой области было зажжено его наибольшее любо- пытствование.

Женщина влекла его, как загадка. Он был полон какой-то особенной, нервной чувственности. Может быть, жадной стра- стностью. Его раздумье над семейным вопросом, над браком пронизано редкой напряженностью. Тут он был у себя дома. Даже собственные писания, свою вдохновенность он выводил отсюда же — из чувства пола. Об этом есть печатное свиде- тельство. Сравнительно недавно вышла книга о письмах Розанова. Это — "Кукха" Алексея Ремизова. И он говорит о том же: "Разговор зашел на тему о писательстве — кто как пишет. Ро- занов сказал: когда он в ударе, и исписанные листы так сами собой, непросохшие, и отбрасываются у него..."

Дальше идет слишком интимное признание.

Как-то у Ремизова собрались гости. Были Сологуб, Чуй- ков и Ермилов из Москвы, чтец Чехова. Читал. А позже при- шел Розанов.

— В минуту совокупления, — сказал Василий Васильевич, — зверь становится человеком.

— А человек? Ангелом? Или уж?..

— Человек — Богом?*

В этом вопросе он был воистину одержимым.

*Ал.Ремизов. Кукха. Письма Розанова.

Почти гениальный, человек редких прозрений, оригинальнейший мыслитель, бесстрашный в своих признаниях, заключающий в себе властные очарования и гибельную опасность многодушия, таящийся отшельник, абсолютно лишенный чувства общественности, не считавшийся и не желавший считаться с ее мнением, судом и приговорами, погруженный в тихую, таинственную глубь интимной мудрости, автор "Семейного вопроса", ребенок, напуганный шумом и силой мира, он лепился к неслышному, к отгороженному, к затененному, жил "в мире неясного и нерешенного", мыслил "в своем углу"* и был один и в своих идейных розысках и в построении своей философии, в своей необщительности, аморальности, противоречивости и в своей дерзкой искренности утверждений.

Строгая последовательность мысли отметила лишь его неизменное отношение к полу и семье. Дом, ограда, женщина, дети являлись предметом его хлопотливых забот и единственным успокоением. Он был откровенен и в этом:

— Общественность, — записывает Розанов, — кричат везде "пробуждение" общественного интереса... Когда я встречаю человека с общественным интересом, то не то, чтобы скучаю, не то, чтобы вражду с ним, но просто умираю около него. Весь смокнул и растворился: ни ума, ни воли, ни слова, ни души. Умер.

Бросал как вызов:

— Народы, хотите ли, я вам скажу громовую истину, какой вам не говорил ни один из пророков?..

— Ну? Ну?.. Хх...

— Это, что частная жизнь выше всего.

— Хе-хе-хе! Ха-ха-ха!

— Да, да! Никто этого не говорил. Я — первый... Просто сидеть дома и хотя бы ковырять в носу и смотреть на закат солнца!..

*В мире неясного и нерешенного" — книга В.В.Розанова. "В своем углу" — постоянный раздел Розанова в журнале "Новый путь".

Эти признания искренни. У Розанова не было рисовки. Позерство ему было чуждо. Общественности он просто не понимал. Ему она говорила как бы на иностранном языке. Он ее совсем не чувствовал.

От ее холодного рационализма Розанов зяб. Писал, что было на душе, то, что жило в ней вот сейчас, в эту минуту, без системы, без плана, без программ.

Долго работал в "Новом времени" и никогда ничем не был с ним связан. И в общем представлении тоже никогда не казался сотрудником этой газеты. Его аполитичность, общественная безучастность были так наглядно явны, что с этой стороны к нему никто не подходил всерьез. Только поэтому он мог параллельно работать и в "Новом времени", и в "Русском слове", и в "Русской мысли". Это было противоречие. Но для Розанова никаких противоречий не было. Он сам являлся как бы живым воплощением сплошной и необычной противоречивости. Про самого себя удивленно говорил:

— Душа моя — какая-то путаница...

Помню, в Петербурге мне рассказывали о Розанове, быть может, анекдот, быть может, истинное происшествие. Он принес статью в консервативный "Русский вестник". Ее приняли. Розанов прислал вторую. В редакции развели руками. Розанову сказали:

— Василий Васильевич! Вы, должно быть, ошиблись адресом. Несите эту статью в какой-нибудь либеральный журнал.

И он отнес. Статью приняли. Через некоторое время Розанов принес вторую. Теперь уже в либеральной редакции ему сказали:

— Это не для нас, Василий Васильевич! С этой статьей вам надо идти в консервативный "Русский вестник".

И Розанов отправился, сдал, был принят и т.д. и т.д. Сказка про белого бычка. Повторяю: рассказ, вероятно, анекдотичен. Но для Розанова он очень характерен. Таким его понимали и считали все, потому что сам он был не "как все".

4

Безобщественный, он, однако, не чуждался иных кружков — религиозных, эстетических, но не мог бы стать участником и эротических. В начале века кружки были модны и распространены. Петербуржцы их помнят. Среди них особенно многолюдным и интересным кружком была "Башня" Вячеслава Иванова. Там бывали все: поэты, беллетристы, критики, философы, общественные издатели — вся тогдашняя петербургская интеллигенция. Бывал там и Ремизов, когда там "водили хороводы" и пели вакхические песни в хламидах и венках", — так пишет теперь З.Н.Гиппиус.

Должен признаться, сам я этих "хороводов" никогда у Вяч. Иванова не видел, а когда-нибудь о виденном и слышанном расскажу с большим удовольствием, как о приятном и интересном воспоминании. Это были годы кружков, дни наших литературных встреч. Конечно, среди этих обществ можно было припомнить много курьезного, забавного, нарочитого, и З.Н. Гиппиус рассказывает о каком-то "радении" у поэта Минского, "где для чего-то кололи булавкой палец у скромной неизвестной женщины и каплю ее крови опускали в бокал с вином."

Словом, карикатурное было. Любили играть в загадочность. Кое-кто нарочито распускал дутые слухи. Было в ходу мистификаторство. Ал. Ремизов вспоминает, как однажды его жертвой стал Розанов. К нему приехали С.П.Ремизова и Л.Ю.Бердяева. У Розанова болело горло, и он решил просидеть дома. У обеих дам было по красной гвоздике.

— А откуда у вас цветы и почему одинаковые?

Василий Васильевич сказал это совсем уж чисто.

— Мы поступили в одно общество, — ответила С.П.

— Какое?

— В эротическое. Мы, собственно, и приехали как делегатки просить вас быть почетным членом за ваши большие заслуги в этой области.

— Ну, рассказывайте, рассказывайте!

— Там три отделения: мужское, женское и смешанное.

— Я — в женское.

— Мы не можем. Вы там сами скажете.

— Ну, едемте, едемте!

Конечно, никакого "эротического общества" не было. Над Розановым подшутили. Меж тем, я очень хорошо помню, как и мне с большим воодушевлением рассказывали о таком обществе и о том, что там принимает участие Розанов, и какие там происходят оргии, с удивительными подробностями, обстоятельностью, именами, описанием ритуала, с расписанием дней, часов и даже оргиастического порядка. Лгали много. Выдумывали кому не лень. На самом деле все было очень просто, скромно и в то же время оживленно и весело.

5

Но для Розанова этот эпизод типичен. В этой области он страдал большим любопытством. В то же время это был прекрасный семьянин, преданный и верный муж. Но семейная жизнь у него сложилась не сразу. Его первый брак был воистину страшен. 18-летним мальчишкой Розанов женился на 40-летней женщине, любовнице Достоевского. Она была похотлива, ревнива и зла. Розанов едва спасся. Тишину семейного уюта принесла с собой его вторая жена, бледная, незаметная, молчаливая и очень религиозная женщина, Варвара Дмитриевна.

Революция сбросила в могилу и Розанова. От потрясений, голода, холода, пустынности он сник, у него сделалось кровоизлияние, потом второе, он сломился, стал недвижим. Еды не было, лекарств не было, он жил под Москвой, в Троицко-Сергиевском Посаде. Сына Васю забрали в Красную Армию — он заразился сыпным тифом и умер. Очередь пришла за Розановым. На смертном одре он писал:

"Душа восстанет из гроба и переживет, каждая душа переживет — и грешная, и безгрешная — свою невыразимую "песнь песней". Будет дано каждому человеку по душе этого человека и по желанию этого человека. Аминь."

В своей жизни, в своих книгах, чувствованиях, в своих тайных притяжениях, в своей необыденности пред нашим взо-

ром прошел интереснейший и замечательный человек любопытной и замечательной эпохи. Но и ей он принадлежал только частично, ибо своей гениальностью, своей редкой, исключительной оригинальностью он отдан не времени, а временам, не одному поколению, а будущему.

Это был человек, не имевший в мире двойника.

И.И. ЯСИНСКИЙ

1

На Мещанской 23 жил я, а в № 25 помещалась редакция "Биржевых ведомостей", и туда я заглядывал по несколько раз в день. Это было в 1902 году, я только что приехал из Москвы, проработав там несколько месяцев в "Курьере", издававшемся Я.Фейгиным и И.Д.Новиком. Там были напечатаны мои первые рассказы. Беллетристическим отделом ведал Леонид Андреев. "Биржевые ведомости" охотно открыли мне свои столбцы, и я стал писать злободневные фельетоны. Я делал это скрепя сердце. Хотелось другого. Я влекся к критике и беллетристике, но газета вообще не помещала рассказов, а критический отдел был целиком в руках покойного А.А.Измайлова. Все-таки я сдал поэму в прозе "Зарево", ее прочел И.И.Ясинский, наговорил мне много приятных слов и взял в свой журнал "Ежемесячные сочинения"

Так началось наше знакомство.

Ясинский был величественно красив. Его массивное тело увенчивалось большой эффектной головой с тяжелой серебряной копной волос, импонировал его рост, располагал добрый и ласкающий взгляд, вкрадчивая мягкость манер и поражал своим несоответствием тонкий голос.

Моя молодая впечатлительная наблюдательность как-то сразу бессознательно почувствовала в нем зыбкую, женскую неверность. И в самом деле, в нем было много женственного. Проступали черты нежности, лукавства, кокетства. Он казался ненадежным. Это была женщина, которая изменяет. Ясинский — ветреность. Он обещал и не исполнял. Давал слово и не сдерживал.

Ясинский считался редактором "биржевых ведомостей". Считался и не был им. К лицу газеты, ее содержанию, интересам сотрудников, успеху "Биржевых ведомостей" он оставался равнодушным. Но и его мягкость происходила тоже не от широты и доброты — она являлась следствием апатичной халатности. В редакции его звали "мамочкой". С этим ласкательным словом он обращался ко всем, приходившим к нему по делу.

Случались курьезы. Какой-то провинциал привез Ясинскому статью о бубликах, их выпечке и распространении. Он ее отправил в набор как передовую. В.А.Бонди, поневоле являвшийся фактическим редактором, бегал в тот день от одного сотрудника к другому, потрясая гранками о бубликах и жалуюсь на Ясинского.

— Вы понимаете, номер газеты открывается хлебопекарней! Все — наша "мамочка".

В своих воспоминаниях ("Роман моей жизни") сам Ясинский рассказывает о трагикомическом случае. У передовой статьи Градовского мальчик просыпал набор конца, оригинал затерялся в корректорской, было поздно, метранпаж обратился к выпускающему с просьбой приделать окончание, и тот приделал. Взял и написал: "Отче наш, иже еси на небеси...", до самого "Аминь". Наборщики набрали, статья была спущена в машину, и на другой день подписчики с немалым удивлением могли прочесть статью о Гладстоне и восточной политике России с молитвенным обращением в конце к Отцу Небесному.

Но в газете Ясинский ценился не за редакторскую работу, а за свои статьи о провинции, ее делишках, быте, мелких неправдах, о всем том, что могло интересовать и занимать заолустного русского обывателя. Отдел так и назывался "Что думают и делают в провинции?" Под этими статьями Ясинский подписывался псевдонимом "Независимый".

Здесь его успех был, действительно, огромен. Провинциальное издание имело исключительный тираж. Оно расходилось в сотнях тысяч. Корреспонденция, получаемая со всех концов России, была необъятна. Иногда Независимый писал фельетон на несколько тем сразу, уделяя по несколько строк каждому

вопросу, разъясняя недоумения, бегло отвечая и указывая. Такие статьи он называл "Почтовым ящиком", и иные из его корреспондентов адресовали письма так: "С.Петербург, Почтовый ящик Независимого". И письма доходили.

Российской глуши в ту пору газета представлялась верховной носительницей правды, последней инстанцией, где можно было искать и найти защиту. В печатное слово, его власть, его авторитет, его неподкупную честность читатель верил, был счастлив общением с писателем, утешался его откликами на свое горе и нужды. В этом отношении Ясинский обладал многими незаменимыми достоинствами. Он был лиричен, умел утешать и ободрять. Его статьи носили на себе отпечаток литературной мягкости, были проникнуты живым сочувствием, украшены художественным пейзажем, изложены в доступной и приятной форме рассказа. Популярность Ясинского завидно росла.

Правда, темы этих бесед с читателем были незначительны. Но и он сам не поднимал больших вопросов, и я могу это утверждать.

Как-то вместо Ясинского, заболевшего или переживавшего очередное недоразумение с издателем С.М.Проппером, мне пришлось вести провинциальный отдел в течение целого месяца. Ко мне поступала вся корреспонденция, и до сих пор я помню, как отвечал на запрос каких-то сельских парубков и разрешал сомнения муромского мельника. Парубки жаловались, что им запрещают петь на улице после 11 часов, а мельник хотел узнать у меня, жениться ему или нет.

Большинство обращений не выходило за пределы интересов семейного или узкобытового круга. Такую переписку я видел еще только один раз: ее вел со своими подписчиками издатель "Вестника знания" В.В.Битнер. У него просили советов, где купить мандолину и канарейку, какой системы должен быть лучший лобзик, и Битнер обстоятельно удовлетворял эту любознательность. Тут тоже ходко распространялся журнал, потом Битнер стал даже созывать районные съезды своих подписчиков и наконец учредил для них особый нагрудный знак.

Словом, полезное, интересное, иногда радостное и всегда прибыльное, это переключение с обывателем, запертым в глуши, это ауканье, эти семейные беседы, разумеется, никогда не носили никакого политического характера.

2

Каково же было мое удивление, когда я прочел среди воспоминаний Ясинского о том, что он в "Биржевых ведомостях" "проводил социал-демократическую линию", в своем революционном пафосе был неудовлетворен "мирной политикой таких социал-демократов, как Струве", и даже сверхчеловеку Ницше "придавал облик большевика". Конечно, это грубая неправда. Ни о каких большевиках в "Биржевых ведомостях" никто не думал. О них не было помину. Никогда Ясинский не склонялся не только к крайностям социал-демократической программы, но и отдаленно не был марксистом.

В чем дело?

А в том, что вся эта книга (эти щекотливые итоги его житейского и идейного шатания) стремится кого-то убедить и от чего-то защититься.

В своем радикализме, в своей давней левизне автор хочет, конечно, уверить большевиков. Но не только их одних. Бессознательно (а может быть, и обдуманно) он желает убедить и нас в том, что он перешел в этот стан последовательно, естественно, даже органически. Он подчеркнуто напоминает о своих неизменных сочувствиях рабочим и крестьянам, подробно рассказывает, как Проппер был озадачен его требованием освещать положение фабрик, с точки зрения заработной платы, как на своем юбилее он настаивал на предоставлении места рабочим, как боролся за материальные улучшения наборщиков, как близко сходил с крестьянскими поэтами, как печатно воевал с крупным помещиком Ридигером, как много терпел от царской цензуры.

Он убеждает нас, но мы не верим. Искренность всегда слышна. У Ясинского ее нет. Здесь все подтасовка и искажение. Эта книга освещена неверным светом фальши. Она — длинное

самооправдание. Это исповедь лицемера, а лицемерие здесь то окрашено наивностью, то отталкивает неточностью, то выдает скрытую озлобленность.

И самый тон повествования тоже лицемерен, и за его внешним, прощающим беспристрастием хоронится клевета, навет и сплетня. Лицемерны и эти изъявления своих восторгов перед большевиками, эта радостная изумленность величием Луначарского, который при свидании поразил его тем, что "совсем не походил на министра, хотя был, несомненно, министром и членом очень могущественного правительства", "конфузился" и даже "улыбался", а "глаза его, очень яркие и внимательные, были устремлены"... на Ясинского.

И тоже лживое, льстивое лицемерие слышится в его оценке Златы Еновны Лилиной (жены Зиновьева), посвятившей "хорошее слово" памяти Гаршина. В этом "хорошем слове" она объяснила, что трагедия Гаршина была в его слабости, помешавшей ему стать революционером, и об этой кощунственной чепухе Ясинский пишет: "Товарищ Лилина была права". И это снова скверная, лицемерная ложь, тем более непростительная, что сам Ясинский прекрасно знает, как сложна, глубока и индивидуальна была трагедия несчастного Гаршина.

Он лжив в суждениях и злобно неточен и в своих фактических свидетельствах. Неправда, будто Леонид Андреев продался Протопопову за 60 000. Андреев получал за редактирование литературного и театрального отдела вместе с оплатой всего им написанного 3 000 в месяц — свой нормальный гонорар: Андрееву везде платили за строчку 1 рубль и даже 1 руб. 50 коп., а в "Русской воле" он работал добросовестно и много. Без чувства брезгливости нельзя читать и эти неискренние упреки Андрееву в том, что он "превратился в социал-патриота", и (о, ужас!) "стал восхищаться бельгийским королем". Это тем неожиданнее, что сам Андреев относился к Ясинскому очень благожелательно, и Ясинский о нем писал с большой восторженностью. Откуда же перемена, откуда это позднее коварство? Объяснение просто. Лжецы проговариваются, и Ясинский роняет:

— Приезжал он ко мне на Черную речку, но я чувствовал, что он не только меня посещает, но и достаивает.

Тут вскрывается еще одна характерная черта Ясинского: его мелочность. А эта мелочность — следствие уязвленного, обиженного и беспокойного самолюбия.

Весь путь Ясинского, вся его душа, все его суждения и отношения всегда были шатки. В своем качании он ухитрился перебрасываться из "Отечественных записок" Салтыкова в "Свет" Комарова, и в приложении именно к этой газете вышел его роман под характернейшим названием "Лицемеры". Почему-то он прошел незамеченным, меж тем его следовало заметить. "Лицемеры" написаны тоже лицемером.

Правда, Ясинский вывел там и себя под именем Иваницкого. Это его право. Но он недвусмысленно и прозрачно захотел вывести еще и других — между прочим, Лескова и Бибикова. Теперь в этом уже нет никаких сомнений. "Воспоминания" Ясинского раскрывают это с полной неоспоримостью. Свидетельства Ясинского-мемуариста совершенно совпадают с эпизодами, изображенными Ясинским-романистом, и роман "Лицемеры" когда-нибудь должен стать предметом любопытной главы в будущем интересном исследовании "История русского пасквиля".

И, действительно, в своем обличительном сладострастии Ясинский нескрываяемо тянется к уязвляющему, личному, интимному разоблачению, прибегает к методам типичного пасквиля.

При своей мелочности, в своей длительной обиженности, в сознании своей неценности, упрямый, как все слабые и зыбкие, этот безвольный самолюбец не только защищается, но и нападает. Он оправдывается и мстит. Обеляя себя, Ясинский чернит других. "Воспоминания" сводят счеты, и с злобствующей радостью Ясинский упоминает как о факте неоспоримом о 100 000, полученных сотрудниками "Русского богатства" за статьи против японской войны. Но и тут он точас же порицающе кивает головой на Розанова, написавшего об этом в "Новом времени", и за это исключенного им, Ясинским, из списка своих сотрудников. Словом, на "Русское богатство" тень брошена не Ясинским, а Розановым, и сам Ясинский не только вне упрека, но и необыкновенно благороден, а повер-

жен опять-таки Розанов, хотя неблагоприятный слух о ста тысячах запечатлен все-таки в книге Ясинского.

Так Ясинский защищается и оправдывается, — вот способы, которыми он желает доказать свою политическую и общественную чистоту.

Но в его жизни есть и еще одна сторона, почему-то зануждавшаяся в своем обелении. Мы подходим к щекотливому пункту. Речь идет о женолюбии Ясинского. Это могло бы остаться тайной, завешенной интимным пологом. Никому до этого нет дела. Эту шкатулку захотел отомкнуть сам Ясинский. И опять это его воля. Но и тут снова все так же, как везде, желая предстать перед нашими взорами в белоснежных одеждах невинности и чистоты, он начинает пятнать страницы чужой жизни. У него Лесков отличается сладострастием и даже сластобесием. Атава женат на "погибшем, но милом создании", с Надсоном в Киев приезжает чужая жена. Минский расходится с Юлией Безродной, Дорошевич жил с девушкой, которая и т.д. и т.д.

Ясинского это не коробит. Повествования о чужих романах должны отметить святость "Романа моей жизни", оправдать слабости, грехи и преступления Ясинского. Значит, и он имел право быть плохим. Но он даже не плох — нет! — прочтите "Воспоминания" и вы видите, как он деликатен, чуток, высок и прекрасен, как несправедлива к нему судьба, как подкупны, пошлы и себялюбивы люди. Если неустойчив он, то другие тоже нестойки. Если его происхождение не дает прав на гордость — что же делать? — вы не должны забывать (и Ясинский вам заботливо напомнит), что Михайловский был сыном жандарма, а отец Мережковского состоял придворным лакеем. Если сам Ясинский был и там и тут, и с левыми и с правыми, то другие ведь писали Суворину "дифирамбические письма". И обо всем этом рассказывается мягко, легко, как бы мимоходом, даже с претензией на бесстрашие. У Ясинского лживость не напорна, она не бьет по глазам и нервам, иногда она становится даже ласковой, и только временами с очевидной явностью в ней проступает подлость.

3

А ложно все: ложно смирение, лживы порывы, напускная кротость и уже за ними, таясь, стоят лукавость, неверность, оскорбленность и злоба. Это итоги печального романа Ясинского с литературой, с общественностью, с жизнью, а теперь с большевиками.

Но через все эти черты и призраки явно звучит робкий голос какой-то неловкости. И в ней сказалась большая драма старого Ясинского: его мучительное недовольство прожитой жизнью, страшный конец, называемый духовным одиночеством.

Девять десятых этой книги он готов был бы сжечь, но прошлое несжигаемо.

Конечно, в этих воспоминаниях Ясинский скрытен. Это тоже характерно: с годами душа закрывается для людей и открывается для мира. Душа Ясинского занавешена — занавешена, но разгадана.

В своей нестойкости, аморальности, впечатлительности он был неизменно подчинен власти соблазнов: он тот, кто уступает. В этом есть какие-то следы душевной проституционности — отдаваться всем и никого не любить.

Душа Ясинского похожа на позолоченное сито. Оно поблескивает и ничего не удерживает: оно всегда пусто.

А.В. АМФИТЕАТРОВ

В А.В. Амфитеатрове прельщала сила, — именно прельщала, но не подавляла, с ним было приятно жить, приятно работать. Этот высокий, широкоплечий, грузный человек был страстен и легок. Таким представал он в молодости и в полном расцвете своих сил, таким же неумным остался до старости лет. Сейчас я открыл пачку его писем, вынул наугад несколько из них, относящихся к 21-му году, и последние. Амфитеатров, все тот же, горячий в напаках, откровенный, душа нараспашку, безудержный и в своих признаниях, и в своем гневе.

В этом отношении его письма гораздо характерней его статей, появившихся в эмиграции. Публицисту-Амфитеатрову нужны были простор, беззапретность тем, размах. По своему темпераменту он был обличитель, сатирик, памфлетист, и когда я в 1917 г. основал журнал памфлетов "Эшафот", первая мысль была о привлечении в сотрудники Амфитеатрова. По натуре добрый, уступчивый, прощающий, совсем не злопамятный, он становился неукротимым зверем, когда вопрос шел о его политических, общественных и литературных врагах.

В своем умственном и физическом полнокровии, в своем горячем, неукротимом бунтарстве, он был неистов и безмерен. В 1916 г. петербургский сатирический журнал поместил дружескую карикатуру на Амфитеатрова. Там он изображен слоном, и под рисунком стояла подпись, объясняющая, что слон — животное добродушное и умное. Карикатура мне понравилась, понравилась она и Амфитеатрову.

Наше знакомство давнее, мне приходилось встречаться с ним в жизни не раз, видеть его на людях, бывать у него в доме на Петербургской стороне, вместе с ним, рука об руку, работать. Это был неутомимый редактор. Старый беллетрист Тихонов вывел Амфитеатрова в своем романе: он сидит за редакторским столом, углубился в чью-то рукопись, все время поглаживает правую ногу — верный признак, что Амфитеатров заинтересовался, но в то же время желает оспаривать и готов к литературному бою.

Он любил талантливых людей, независимо от личных отношений, от различия во взглядах и убеждениях; искренне и пламенно увлекался молодыми дарованиями, и последней его влюбленностью стал В.А.Никифоров-Волгин. В письме ко мне он его сравнивал с Чеховым периода "Хмурых людей" и говорил об этом не только мне, но и другим, напр., Сергею Горному.

Но и к нему самому с первых же шагов литературной деятельности судьба отнеслась с великой нежностью, стала широко баловать, сделала любимцем старика Суворина, и к его памяти Амфитеатров относился с истинно сыновней благодарностью.

— Ничего не могу сказать о старике, кроме хорошего, — объяснял он, — но тут мое мнение десятое.

И смеясь прибавлял:

— Я подкуплен, подкуплен его любовью ко мне. Тут уж ничего не поделаешь.

Действительно, отношение Суворина к Амфитеатрову было редким и даже исключительным. Амфитеатров начал работать в "Новом времени" как московский корреспондент, вскоре Суворин вызвал его в Петербург, и в газете стали появляться фельетоны, подписанные полным именем "А.Амфитеатров", и верхние фельетоны шли под псевдонимом "Old Gentleman". Гонорар Амфитеатрова был уже тогда завидным, впоследствии он зарабатывал тысячи, и когда ушел из "Нового времени", основал свою газету "Россия", его годовой оклад равнялся 24.000 руб., а это было в 1899 году.

Амфитеатрову был подарен и завидный житейский талант — привлекать сердца. Этот человек больших пропорций и больших масштабов, грузный, высоченного роста, с крупной головой, с мягкими, густыми волосами, обладал приятным голосом, превосходной памятью, разнообразной эрудицией, вечно молодой способностью горячиться, закидываться на дыбы, переть напролом, швырять правду в глаза противнику и другу, — безрасчетность и азарт.

Эти качества, эти особенности человека отразились на его общественно-политических пристрастиях. Амфитеатров никогда не принадлежал к какому-нибудь одному лагерю, конечно, он не мог ходить в партийных шорах, менялся, ослепленно бросался от одной крайности в другую, — голова и сердце этого человека часто бывали и в споре, и в ссоре. Сначала консервативное "Новое время", потом ярко либеральная "Россия" и тоже либеральная "Русь", издававшаяся Алексеем Суворинным, а в Париже Амфитеатров основал революционный журнал и назвал его "Красное знамя".

По жизни он шел большими шагами, легко и уверенно преодолевая пространства и препятствия, ломая встречные преграды, и от его речей, манер, действий, отношений к людям веяло тоже силой и потому добродушием. Оно светилось в

его смехе и отzyвах, в прощающем забвении чужих грехов и поступков, смягчало его приговоры. Он тот, кто обрушивался сразу, но тоже сразу и скоро остывал, как бы говорил и о других, и о себе: "Все мы люди, все мы человеки, и сам я не без грехов"

Как-то его упрекнули в том, что молодым он был в юдофобском стане. Амфитеатров не смутился и ответил: "А в детстве я разорял птичьи гнезда, поставьте и это лыко в строку".

Впервые я приехал в Петербург, когда амфитеатровская "Россия" уже закрылась. Нам суждено было увидеться года через два. Он был в расцвете сил, здоровья, творчества, неутомный, совсем не остуженный своей Минусинской ссылкой, жадный к популярности, к труду, к темам, к борьбе и вызову властям и строю, размашистый и дерзновенный публицист.

Тогда он работал в газете "Русь", но и здесь пребывание Амфитеатрова стало недолгим. По поводу какой-то студенческой истории в Горном институте он поместил резкую статью, и на этом его сотрудничество оборвалось. Амфитеатров не любил псевдонимов (исключение "Old Gentleman"), но в этот период ему пришлось печататься за подписью "Аббадонна" — псевдоним, прикрывавший его статьи из Минусинска и заграницы. Амфитеатров стал появляться а "Санкт-Петербургских ведомостях" кн. Э.Э.Ухтомского, в той же суворинской "Руси" и ростовском "Приазовском крае".

Известно, что своей газете "Россия" свернул шею сам Амфитеатров. Как-то рассердился на издателей, крупно с ними поссорился и напечатал памфлет на Николая II и Романовых под заголовком "Господа Обмановы". Чисто русский курьез: Амфитеатрова, автора этого памфлета против царя, приютил у себя в газете друг Николая II, Ухтомский, когда-то вместе с ним проделавший путешествие в Японию, вместе с ним игравший в детстве, его ровесник.

Ссылка, затем первая эмиграция произвели в Амфитеатрове глубокий переворот. До тех пор всем складом своей души, семейными влияниями, своим происхождением (его отец был протоиереем, настоятелем знаменитого московского храма

Христа Спасителя), сотрудничеством в "Новом времени", самим воздухом старой Москвы Амфитеатров был взращен и должен был стать попутчиком монархической идеи. Впрочем, даже тогда, когда он писал своих "Господ Обмановых", он восставал не против монархического принципа, а воевал с искажением, с понижением престижа идеи и ее измельчением. Сибирь и особенно эмиграция — все изменили коренным образом. Амфитеатров стал непримиримым, и тут опять сыграли свою роль его страстность, его темперамент, безмерность его увлечений. Раз став теперь на путь республиканца, Амфитеатров уже не мог сойти с него, не мог и не хотел.

Таким он оставался до самого большевизма, и в февральские дни 1917 г. редактируемая Амфитеатровым "Русская воля" первая провозгласила демократическую республику. В 1921 г. он покинул СССР, счастливо бежал от большевиков, некоторое время пробыл в Чехословакии (он был связан давней дружбой с Масариком) и наконец поселился в своем любимом Леванто. Там у Амфитеатрова была небольшая вилла. Большевистский урок не прошел для Амфитеатрова даром. Постепенно, исподволь он стал праветь, в его душе снова воскресла идея монархизма, согретая воспоминаниями молодости, преданностью традициям родной старой Москвы. Амфитеатров в старости вернулся к идеалам и сочувствиям своих ранних лет.

Очутившись в эмиграции, он и тут сначала загорелся широчайшими планами. Взрывчатая душа Амфитеатрова не знала границ и пределов, у этого человека горело не только сердце, — горела голова, не только кровь, но и мысль. Разгоряченное воображение рисовало заманчивые картины. Амфитеатров отдавался политической мечте, распаяясь и ослепленно. Сразу же перейдя рубеж, он решил объединить эмиграцию, независимо от ее политической разноликости, призывал, писал, упрекал, наконец, махнул рукой и очень рассердился. В книге "Стена плача и стена нерушимая", между прочим, писал: "Отчего мы такая дрянь?.. Все мы дрянь: и я, в том сознающийся, и вы, то отрицающие... Мучительно сознание дрянности растет во мне вот уже 7 лет, ибо, вот уже 8 лет как я в эмиграции"...

Революционером Амфитеатров не был никогда. Революция требует железа и крови, а он знал и весь свой век любил только грозный кусочек металла, зовущийся пером, яд чернил предпочитал всем другим ядам. Революционные вулканы неизменно извергают грязь — в Амфитеатрове жила большая чистоплотность. Революционерам он мог казаться "чистюлей". Это был русский интеллигент, наделенный русским почвенным здравомыслием, без расхлябанности, больных надрывов и сентиментальной маниловщины. Он очень любил жизнь и эту любовь, эта страстная жажда характерны у него во всех областях, и в разных местах Амфитеатров рассказывал об увлечениях своей молодости, беззаботном разбрасывании сил и дней, угарах нижегородской ярмарки, каком-то ребяческом столкновении с Дорошевичем и т.д. и т.д. А о бесчисленных знакомствах Амфитеатрова, его связях, встречах, путешествиях мы могли знать и без него, читая эти тома, где проходят, мелькают, встают древний Рим, славянские страны, Сибирь, Франция, Италия, революционеры, попы дальнего века, жрицы любви, подвальные барышни, души, зачарованные степью, Петербург и Москва, ее купечество, алхимики, злоделатели, русские промотавшиеся дворяне, сумасшедшие, провокаторы, министры, великие князья, скопцы, писатели, журналисты, актеры и певцы.

Мир сцены Амфитеатров знал особенно хорошо, — сам когда-то оперный певец, выступавший под псевдонимом "Амфи". Начиная в Новгороде, в какой-то клубной труппе, пел в оперетке, потом служил в тифлисской опере. У Амфитеатрова был красивый голос, — кажется, ему не хватало слуха. Но кем только он ни был, куда ни заглядывал, чем только ни интересовался! Был Амфитеатров и масоном, туда его сманил проф. М.М.Ковалевский — "его главный масонский магнит". Конечно, пребывание Амфитеатрова и тут, в масонской ложе, было очень коротким, — сюда он попал из никогда не покидавшего его любопытства. Вообще, любопытство и любознательность Амфитеатрова всегда поражали, — так разнообразны были интересы этого человека.

Эта же размахистость, широта и безмерность насытили и

пронизали амфитеатровский язык. Им он владел в совершенстве, непокорный ни одному шаблону, лишь временами напоминая язык и стиль Салтыкова-Щедрина. И тут Амфитеатров отвращался от всякой условности, от всех стеснительных — к сожалению, общепринятых и очень надоевших — литературных приемов и писательских манер. Для критика Амфитеатров не оставлял никаких загадок, для учителей — никаких тайн. Его он вводил в тайну каждой из своих книг, будто приглашал в свой кабинет, вступал с читателем в открытую беседу, откровенно предупреждал, чем кончится роман, цитировал самого себя, не скрывал источников, не любил наигранности и кокетства, и даже иллюзии лейтенанта Глана в "Пане" Гамсуна встречали у него насупленную мрачность, а о манерничавших поэтах он как-то сказал: "Все хорошие стихи уже давно написаны, а плохих не стоит писать". И это здравомыслие — тоже от старой почвенной Москвы, ее духа, ее корней.

С этим духом Амфитеатров не мог расстаться до конца жизни, — это его печать, его любовь, его неразрываемая пуповина. Но с Италией он сжился. Туда его впервые привела мечта о карьере певца.

В последнее время Амфитеатров болел, схватил воспаление легких, даже этот могучий организм начал сламываться, уступать, сникать. Материальные условия когда-то очень избалованного Амфитеатрова были в последние годы стесненными, а тут еще пришло и новое горе: один из сыновей Амфитеатрова заболел тяжело, был помещен в психиатрическую лечебницу — это был большой удар для отца.

Но от литературного труда Амфитеатров не мог отойти. До конца дней он писал страстно, энергично, много, работал для себя, сотрудничал в газетах, — творческая сила его не покидала. Человек опадал, писатель не сдавался. Но смерть сильнее нас. Амфитеатрова не стало.

А.БЛОК И А.БЕЛЫЙ

В ту зиму сначала пополз, потом разнесся и загудел слух, побежала сплетня: Блок влюблен в артистку театра Комиссаржевской Волохову. Это было в самом начале 1906 года. Рево-

люция садилась и осела. Ее вспышки и вздрагивания ощущались слабо и устало. Петербург упоенно был захвачен театром. Это увлечение потащило и молодого, тогда очень красивого Блока. Семейная жизнь его разлаживалась. Сердцем Блока завладела Волохова.

Им можно было полюбоваться. В сюртуке, с белой розой в петлице, с закинутой головой, с чуть открытым в полуулыбке ротом над пышно повязанным черным шелковым шарфом, он казался прекрасным, — таким его вспоминает Андрей Белый, таким его представляем до сих пор все мы, встречавшие его в театре Комиссаржевской.

Шла премьера. Ставили "Пелеаса и Мелизанду". В фойе Блок стоял у стены и помахивал белой розой. Еле-еле, с надменной полуулыбкой поддерживал незначительный разговор с какой-то дамой, и шапка дымящихся, точно курчавых волос в чудесном спокойствии оттеняла его розовое лицо. Но вдруг он стал кого-то искать глазами, совсем без внимания оставив свою болтливую даму, в кого-то уставился, переменялся в лице, быстро и небрежно раскланялся с собеседницей и быстрыми, молодыми шагами, развевая сюртук, почти побежал сквозь толпу. Издали он увидел Волохову.

Эта была тонкая бледная женщина, с черными дикими и какими-то мучительными глазами и с худыми руками, с поджатыми крепко губами, с осиной талией. Черноволосая, сдержанная, во всем черном, она казалась неприступной повелительницей. Блок ее боялся — верный и вечный признак покорной влюбленности. С ней он держал себя с глубокой и строгой почтительностью. А она, размахивая длинной черной перчаткой, бросала короткие, непререкаемые приказы. Она произносила их тихо, почти шепотом, и Блок ей внимал, склонив голову и опустив руки по швам. Шурша черной шелковой юбкой, она проходила в переднюю, и Блок с почтительно склоненной головой, в почтительной позе, почтительно подавал ей пальто.

Так шли месяцы, так проходил этот год, мучительный для Блока. Впечатлительный, он разрывался, ломались отношения с женой, переламывалась, терзала любовь к Волоховой. Все

гасло постепенно. Петербург жил своей шумной жизнью, в литературных салонах появлялись новые, незнакомые кокетничающие люди. На вечерах распевал, аккомпанируя себе, свои песенки, гримасничающие аретки Михаил Кузмин, с зализанными на висках вперед к глазам черными подкрашенными прядями, и с ним неизменно, как всегдашний спутник, приходил юный Сергей Ауслендер. С ним мило играли артистки, его чуть ли не гладили по голове женщины, его хотелось посадить на колени и дать щелчок: "Милый, не гримасничай!" С.Ауслендер ломался, картавил, изображал испорченного младенца, был в плюшевой пурпурной мягкой рубашке — изоцренный и томный бэби. Почему бы не покормить его грудью, не сунуть ему в рот двумя пальчиками кусочек шоколада? Но как это сделать с ним, перебалованным, с зелеными кругами под глазами, с истасканным, бледным лицом развращенного мальчика?

Бедная Комиссаржевская! Тогда она жила в дерзаниях и терзаниях, тоже влюбленная в актера своего театра Б-ча, растерзанная своими исканиями новых путей театрального искусства. То был год ее великой растерянности. Она готова была слушать всех и всякого, верить всяким советам, считать авторитетным словом каждую выдумку. Что понимал в театре Андрей Белый? Но он умел говорить убежденно, с большой внешней уверенностью, был истерически страстным — Комиссаржевская поверила ему,

Мимолетно они встретились в 1908 г. Как истерик и одержимый, Белый пришел в неистовый восторг от Комиссаржевской, ее игры в реалистических пьесах и ощутил столь же необъяснимый ужас от ее роли в "Пелеасе и Мелизанде". Думаю, что внутренне он не испытывал ни восторга, ни ужаса. Но ему хотелось показать свою божественную требовательность от исполнителей символической драмы Метерлинка. Еще бы: ведь он сам был символистом, считался глашатаем и теоретиком символа их веры, разве тут может быть какая-нибудь снисходительность!

Белый напечатал два фельетона в буржуазной газете "Утро России", — грех да беда на кого не живет, — Белый решил пойти в орган "наймитом капитализма". Должно быть, это

было не так уж трудно, это был уж не такой сложный и отчаянный компромисс со своей совестью. Какая чепуха бывает на свете! Эти писания Белого заставили Комиссаржевскую призадуматься. Она заколебалась. Статьи Белого оказались одной из причин, побудивших Комиссаржевскую расстаться с символическими пьесами. Потом произошел курьезный — не побоимся слов! — предосудительный случай. Комиссаржевская предложила Белому выступить с лекцией о Пшибышевском. Он должен был поделиться своими раздумьями, прочесть лекцию перед пьесой Пшибышевского, которого он не любил. Логичней было бы отказаться. Оставаясь искренним, он мог отозваться о польском писателе и его пьесе только отрицательно. Интересно это объяснение. Белый вспоминает: "Но вдруг я согласился". Это "вдруг" для Белого чрезвычайно характерно.

Все необъяснимо, все внезапно. "Вдруг" восторг, "вдруг" ужас, "вдруг" согласился, и, хотя знал, что лекция выйдет грубой, тем не менее вышел на сцену, прочел доклад, а по окончании его собрался как можно скорей бежать из театра. Не хватало бы еще после такой бестактности встретиться лицом к лицу с Комиссаржевской!

В бенеуаре сидела маленькая черная женщина, в шляпе с огромными полями, бледная и тихая, как девочка. Со сцены нельзя было определить ее возраст, невозможно было разглядеть черты ее лица. Сразу были видны только два сине-серо-зеленых глаза, блеснувших из темных орбит. Она сидела одна, в темной ложе, склоняясь головой к руке, отброшенной на спинку кресла. Ни одного движения. Темные линии ее легкого тела таяли в полусумраке. Завороженному, закруженному своим лекторским неистовством Белому не пришла в голову даже такая простая мысль, что эта ложа директорская.

После лекции Белый, естественно, заторопился исчезнуть, схватился за шапку, и вдруг в комнату порывисто вбежал молодой человек и торопливо, будто нельзя было промедлить и одной секунды, крикнул:

- Идемте!
- Куда?

— К Вере Федоровне!

Как водится, А.Белый не вошел в комнату, даже не вбежал — он влетел туда и увидел сидевшую в кресле черную фигурку. Вуаль спускалась с полей ее шляпы. При его приближении женщина поднялась с удивлением, строгой робостью, не спускающая остановившихся глаз, протянула маленькую руку. Милый голос сказал:

— Я рада с вами...

Она робела и конфузилась, как гимназистка перед инспектором: бледное маленькое личико, стянутые губы, как у детей, смущенные глаза. Белый стоял с открытым ртом и хлопал глазами. Внезапно его охватил истерический перепуг, и он спасся бегством. В глазах Комиссаржевской, в ее откинувшимся стане мелькнуло величайшее изумление. Но она была внутренне настойчивой, или, вернее, привязчивой, слишком доверявшейся тому, что было для нее неясным. Она любила протирать стекла, доискиваться, искала света и путей. Немудрено, что она не отказалась и дальше от встреч с Белым.

Осенью следующего же года Комиссаржевская дала в Москве несколько прощальных спектаклей. Один из них превратился в ее чествование. Белому поручили сказать приветствие, — на эти роли его брали часто, и он охотно выполнял такие поручения. Рассеянный, околдованный, он появился на сцене в сюртуке и в желтых башмаках. Смугился до потери сознания, смял приготовленную речь и, вообще, производил впечатление человека, упавшего, если не с неба, то с потолка. Он кое-как выбалтывал свое неуклюжее приветствие, а Комиссаржевская слушала его с напряженным вниманием, вдруг шагнула вперед и крепко, по-мужски сжала ему руку. Тут же ему сказали, что Комиссаржевская желает с ним говорить. Дали ее адрес. Надо было прийти на другой день. Оказалось, в назначенный час она была очень занята, куда-то торопилась, и свидание было перенесено на вечер, по окончании спектакля. Комиссаржевская верила, что в ее разбросанности больше всех может помочь А.Белый. Взяв его за руку, и снизу вверх заглядывая ему в глаза, она невыразимым свирельным грудным голосом стала умолять его:

— Поймите, я вам подношу моего младенца. Неужели вы не улыбнетесь ему, отвернетесь и пройдете мимо?

Вечером они сели на извозчика и поехали, катались где-то по московским переулкам, очутились за городом, вернулись, все время говорили, что-то обсуждали и так ни до чего и не договорились. У нее вырвался полуобожженный укор:

— Почему вы такой невнимательный, грустный, холодный и — синий, синий?

Комисаржевская верно определила своего собеседника. Всегда Белый был невнимательным к другим, к чужим жизням, не окунался в них, не разгадывал их, оставался холодным и холодно же все сочиняет: лица, фигуры, души, горести — все; синий, посинелый, с навинченной страстностью, истерическими подергиваниями, навязчивой и полуделанной исступленностью.

Он самозакруженный человек, Белый — литературный шаман, и в среде своей он неизменно шаманит. Читать его интересно и не только с литературной точки зрения, но еще и с психопатологической. Почитать его хорошо, но верить ему не надо. В своих воспоминаниях он сознается: "Я подаю на этих страницах шарж". Все здесь изломано, выдуманно и перековеркано. Серьезно он влюбился в Асю, родственницу д-Альгейма, основателя "Дома песни". С Асей он решил соединить свою жизнь, и это "решение было вынесено на огромном суку". Они задумали бежать. Вынашивались планы побега. Белому эта мысль очень понравилась, его охватили "бодрость, радость и чувство удали". Оба даже не подумали о том, кем станут в своей будущей жизни: товарищами или мужем и женой. Во всяком случае они решили уехать и сойтись без церковного брака. Как ребят, их забавляло, что в Москве начнут говорить, какие сплетни побегут и расцветут в литературных кругах, и одни будут утверждать: "Беспринципный декадент похитил юную девушку". Другие станут доказывать с пеной у рта, что девочка погубила Андрея Белого.

Эти сцепления невероятных противоречий, нескладных противоположностей мутили и свивались в душе, уме и жизни Белого, как болезнь, как проклятие, и от этого рокового не-

дуга он не нашел исцеления до самой смерти. Так его и шатало — от Рудольфа Штейнера к Ленину, швыряло от Владимира Соловьева к Карлу Марксу. Белый был сложен и запутан, неожидан и одержим. Он — олицетворение и образ хаоса. В своей книге "Начало века" признается: "Я нарочно создавал в себе максимум путаницы". То он мистик, то позитивист, потом антропософ, в своих теориях — математик. То он предан символизму, Блоку, Брюсову, то вдруг испытывает непобедимое влечение к Некрасову, к русскому народному эпосу, на все способный откликнуться и все готовый полюбить, потому что настоящей приверженности у этого писателя не было ни к чему и настоящей любви у этого человека не было ни к кому.

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

Аверченко приехал к нам три года тому назад. Это было в феврале 1923 г. Вместе с актером Искольдовым и его женой, актрисой Раич, он совершал театральное турне: ставил свои пьесы, сам в них играл, со сцены читались его рассказы. Вечера проходили с успехом. Почти тотчас же по приезде он пришел в редакцию. Мы встретились после многих лет разлуки, не видав друг друга более пяти лет. Аверченко был все тот же.

Ах, конечно, я говорю не о человеке, не о друге, не о писателе. Тут не могло быть никаких неожиданностей, никаких превращений и утрат. Но и внешне он оставался таким же, каким я знал его 17 длинных лет.

Между прочим, за весь этот период судьбе было угодно сводить нас в самых неожиданных местах. В 1909 году я попал в Харьков, туда приехал Аверченко. Потом, через несколько лет, мне пришлось пожить в Киеве, и тут опять произошла наша встреча. Через некоторое время мы снова сидели в его номере в одесской "Лондонской" гостинице. Затем я жил в Москве, но судьба занесла Аверченко ко мне и сюда.

Теперь последнее свидание произошло уже в Ревеле, и опять все дни его пребывания здесь мы провели, не разлучаясь, вместе.

Ни выражение лица, ни общий тон речи и отношений к жизни, ни доверчивая искренность, ни веселый, чуть-чуть лукавый смех, ни его льющееся остроумие — ничего не утратили в своем прежнем облике и своей светлой красоте.

Эта неделя мне особенно памятна. Ему Ревель понравился. Его прельщала старина, эти узкие улицы, древние здания, ратуша, люди. Но и ревельцы сумели окружить его лаской, теплом и любовью. Аверченко приглашали наперебой.

Потом, когда он уехал, о нем долго и много вспоминали, и я часто получал поручения посылать ему поклоны и приветы в письмах, и однажды две милые дамы приказали мне передать ему "поцелуй в лоб". Я ему об этом написал. В своем юмористическом ответе (все его письма ко мне носят юмористический характер) он выражал недоумение:

— Ты пишешь: "Н. и Н. целуют тебя в лоб" (!?) ... Милые старомодные чудачки! Не могли найти другого места. О, как они выгодно выделяются на нашем разнузданном фоне и т.д.

Мой глаз приятно подмечал в Аверченко ту мягкую естественную, природную воспитанность, которая дается только чутким и умным людям. Его очарование в обществе было несравнимо. Он умел держать себя в новой и незнакомой среде легко, в меру свободно; неизменно находчивый, внимательный, ясный, равный и ровный со всеми и для всех. Это большое искусство, им может владеть только талантливая душа, и ему был дан дар пленительного шарма. Он покорял. Но рядом с этой веселостью, внешней жизнерадостностью теперь в его отношения к людям вплелась еще одна заметная нить: он был внимателен и заботлив к другим. Правда, отзывчивость всегда была одной из его прелестных черт. Теперь она стала углубленной, преобразовавшись из готовности откликнуться в искание возможности понять, помочь и услужить. Прежде он не мог отказывать, сейчас он не мог отказать себе в удовольствии быть полезным.

Из его письма я знаю, какие хорошие воспоминания он сохранил о Ревеле. Через год я его звал сюда для общей работы в газете. Между прочим, я прибавлял, что крупного аванса ему не вышлют. Он ответил мне все в том же юмористическом тоне:

"... Письмо твое я получил, но что я мог ответить, если в главном месте своего письма ты тихо и плавно сошел с ума. Будь еще около тебя, ну... пощупал бы лоб, компресс приложил, что ли. А что можно сделать на расстоянии? Ты, конечно, с захватывающим интересом ждешь: что же это за место письма такое? А место это вот какое: (ах, ты ли это писал?) "Разумеется о том, чтобы выслать тебе большой аванс, не может быть и речи". Скажи, друг ты мне или нет? Как же у тебя повернулась рука написать такое? Да где же это видано, чтобы человека с моим роскошным положением и телосложением приглашали, как полубелую кухарку?"

И заканчивал тоже юмористически:

"Эх, брат, горько мне! А получи я гарантию, — да я бы к тебе на бровях дополз..."

Тогда он уже был очень недурно устроен в Праге и все-таки это согласие перебраться в Эстонию у него было не простым словом вежливости, а, действительно, выражением самого искреннего желания.

И в смысле художественном, и в смысле материальном выступления Аверченко проходили с отличным успехом и завидными результатами. Он сделал несколько прекрасных сборов и в Ревеле, и в Юрьеве, отовсюду унося с собой самые отрадные впечатления. Слегка, чуть-чуть его огорчила только Нарва. Ему показалось, что с его спектакля взяли слишком большой налог. И со своей обычной беззаботностью, добродушием подсмеиваясь, он написал об этом фельетон, а в нем говорил:

"Все знают, что я известен своей скромностью по всему побережью. Но вместе с тем не могу удержаться, чтобы не похвастать: есть такой город, который я содержу на свой счет! Этот город — Нарва. Я приезжаю в город, привожу свою труппу, выпускаю афишу, снимаю театр, в день своего вечера играю пьесы, читаю рассказы, получаю за это деньги и потом... все деньги аккуратно вношу нарвским отцам города. На мои деньги эти отцы благоустраивают мостовые, проводят электричество, исправляют водопровод и... ах, да мало ли у города Нарвы насущных нужд! И обо всем я должен позаботиться, все оплатить. Хлопотливая штука!"

Конечно, и тут не было никакой гневности. Аверченко шутил. Нарвцы это так и поняли. Кто-то прислал оттуда ответную полемическую статью, но и она тоже была не злобной, а веселой. Редакция же не поместила ее, не желая длить полемику между нашим гостем и городом, взыскавшим все же совершенно законный налог.

Во всяком случае турне по Эстонии для него не было утомительным. Для него эта неделя прошла незаметно. Его не беспокоили, к нему не стучались, ему не надоедали. Но, вообще, эта новая профессия, временная профессия актера для него была тяжела.

Всю свою жизнь Аверченко провел независимо, оставаясь вольной птицей, издатель и редактор собственного журнала, широко расходившегося, приносившего большие и легкие деньги. Как страстно ни любил Аверченко театр, крепко связанный с ним многообразными узами актера, зрителя, друга, доля кочующего актера была не по нем и не для него.

Перед началом первого спектакля я зашел к нему в уборную. Он был почти готов к выходу и стоял, оправляясь перед зеркалом. На нем был чудесно сшитый фрак. Когда я ему об этом сказал, он с улыбкой, поправив свое неизменное пенсне, ответил:

— Да, все воспоминания прошлого хороши. Теперь уже такого не сшить.

И вот тут, в эти короткие минуты, оставшиеся до поднятия занавеса, он пожаловался мне на свою актерскую тяготу. Ему были неприятны эти однообразные повторения одних и тех же пьес, эти переезды, упаковки и распаковки чемоданов, номера гостиниц, афиши, хождения за визами. Особенно надоело играть свои собственные вещи.

Последний раз мы пообедали в "Золотом льве", там же, где он остановился. Все было уже уложено. Чемоданы стояли внизу, в передней. Поезд уходил в 6 вечера.

Мы поехали на вокзал и там простились.

Смеясь, он, между прочим, сказал мне:

— Лучший некролог о тебе напишу я.

И шутливо прибавил:

— Вот увидишь.

— Подожди меня хоронить, — ответил я. — Мы еще увидимся.

Но увидеться было не суждено, и некролог пришлось писать не ему обо мне, а мне о нем.

ИСААК БАБЕЛЬ

Он зыбок, он нервен, он талантлив.

Я помню.

Однажды на мою петербургскую квартиру беллетрист Ефим Зозуля, тогда начинавший свой литературный путь, привел маленького Бабеля. Он был в студенческом мундире и своей простотой, сдержанностью и молодой доверчивостью произвел на меня очень приятное впечатление. Это был не только веселый, но и очень смешливый человек. Часто, засидевшись у нас до поздней ночи, он оставался спать, и уже только потом я узнал, что у Бабеля не было права жительства, что студенческий сюртук он носил как панцырь, защищавший его от придинок дворника и полиции, что он снимал комнату у какого-то шумного и вечно пьяного лакея.

В тогдaшнем Бабеле чувствовалось скрытое беспокойство и какая-то усталость. Его подвижность, переходившая в суетливость, вскрывала нервную непоседливость и неуверенность в себе. Он мало говорил, зорко наблюдал, и в этой наблюдательности была жадная напряженность. Вообще он жил насто-роже.

Это было в 1916 году.

Как-то раз Зозуля показал мне бабелевский рассказ. Бабель был настолько скромн, что сам не решался занять чужое внимание этим едва ли не первым опытом своего пера. Я прочел, без всякого труда угадывалось влияние Мопассана. Бабель вообще был в плену у французов. Сначала его дразнил Мопассан, потом оглушал Барбюс.

Через три года, в 1919 г, я слушал в одесском "Крестьянском Дворце", как Бабель читал свой новый рассказ. И снова было то же — Мопассан.

Его тревожили темы любви, точней, чувственности. В этой области Бабель был и остался верен своим физиологическим тяготениям. Их легко разыскать во всех его книгах, о них говорят его сравнения, подмечания, его темы. Он любит страсть и плоть. Его женщины никогда не овеяны чистыми прелестями идеалистических мечтаний. Его глаз схватывает в них то скрытого, плотоядного, чувственного зверя, то наивную и откровенную грубость большого тучного животного.

Один из его рассказов называется "Первая любовь", но и здесь красивая Галина Аполлоновна "слонялась с бессмысленной улыбкой на "мокрых губах", подымала халат выше колена и говорила мужу: "Поцелуй ваву". Она "по целам дням держала мужа за руки", "не сводила с него глаз, потому что не видела мужа полтора года", и Бабель помнит, как уже тогда десятилетним мальчиком он "ужасался ее взгляда, отворачивался и трепетал", "в ликующих ее глазах видел удивительную постыдную жизнь всех людей на земле", как "необузданные вымыслы" терзали его.

И все-таки образ Галины Аполлоновны — исключение. Это первая любовь, интимные переживания отрочества. Но типичным и наиболее частым гостем его книг является звероподобная и массивная, вождеющая баба, страдающая от желаний, обильной пищи и любовного пота ("Король"). Так чувствует огромная Бася Грач, говорящая "оглушительным басом"; такой же зверь Сашка, отдающаяся кучеру в двух шагах от своего умирающего любовника ("Шевелев"). И у Любки Козака автор примечает "чудовищный сосок", и такой же громадой, тушей из крови и мяса представляется еврейка, изнасилованная махновцами, — "толстуха с цветущими щеками", налитая "коровьими соками"; и "ноги девушки жирные, кирпичные, раздутые, как шары, воняли приторно, как только что вырезанное мясо".

И все "соски", "шары", "мясо", "любовный пот", эта нарочитая и подчеркнутая резкая грубость — все это следствия горьковского влияния. Это от Горького, из Горького, несчастные дары Горького. В смешанной чересполосице испытанных влияний Бабель кажется каким-то французско-нижегородским.

Через Горького к Бабелю пришла и чрезмерность. Он тянется к гиперболе. Ему нужна необычность. Так странно: Бабель импрессионист. У него почти нет фигур — одни силуэты. Он чувствует неясную и зыбкую призрачность своих писаний, своего рисунка и именно поэтому — сознавая эти недостатки, эту нехватку — старается возместить их нагромождениями, массивностью, подчеркнутостью. Он кладет краски по весу, на фунты, он швыряет в свою лепку пуды глины. Это приводит его к однообразию. Он повторяется. Это напряжение выдает его изобразительную слабость. Он видит, желает, но не выговаривает. Мистер Троттибэрн у него похож на "колонну из рыжего мяса". В другом рассказе боцман опять "колонна из красного мяса, поросшая красным волосом".

Это один из бабелевских приемов.

Но у него есть еще и другой.

Как первый, так и этот явился результатом внутренней авторской шаткости Бабея, его душевной зыбкости, его неуверенности в своих изобразительных, в своих художественных силах.

И там, где он не прибегает к массивности, к весу, к тяжести и размерам, он хватается за вычурность, и тут его эпитеты, сравнения, вся ретушь, все краски выдают его несомненную истеричность, по крайней мере, какой-то невроз. Вычурен день, который "сидел в разрушенной ладье". Вычурны "мушки, одетые в желтые нимбы стужи" ("Конец св. Ипатия"). Вычурна "рыжая сталь его поступков" ("Как это делалось в Одессе"). Вычурны звезды, которые "были задушены раздушимися чернилами туч". Вычурно "воплъ метался по кругу закованных моих челюстей". И т.д. И т.д.

Все время Бабель вытягивается, тщится, ловит слово, ищет его, не находит и бросается в риск крайностей, в необдуманную приблизительность. Вот писатель, самый неточный в слове.

О, как законна и понятна эта потребность лексиконного обновления, как все мы гаснем в толпе старых знакомых, нами замученных слов. Каждый из нас испытывал эту горячую ненависть к затрепанному нами мешку словесных черствых

корок, к этому бессилию найти свежие обозначения, не тронутый молодой словарь, — нами, по-своему сотканную, нас вырывающую формулу, неизношенную одежду нашей мысли.

Но когда для этого нужно выбирать между неверной вычурностью, опасной изобретательностью, с одной стороны, и точностью, определенностью и ясностью, с другой, — предпочтем четкость. Бабель ее не любит. Ему необходима заостренность. Он хочет рисовать не карандашом, а шилом. Бабель колет. Ему нужно, чтобы мы вздрагивали.

В пучину слов он бросается наобум. Он играет в словесную лотерею, связывает несоединимое. В его фразе идет междоусобная война. Для него этот прием страшнее, чем для кого-нибудь. Дело в том, что Бабель не знает и не чувствует русского языка. Нельзя говорить: "привел к отчаянию", "запотевать", "ответил, поиграв кнутом", "парусовая (парусиновая) бурка", "вода текет", "своевольное хотение боя", "теплота потрясла основы моей души", "земля тащит меня на веревке своих бедствий". И, наконец, это отравляющее, недоевшее "одела": "Баська одела мужские штилеты"..., "она одела шляпу"..., "он одел бурку" ("Отец").

Бабель — жертва своей нервной нетерпеливости. Он торопится сам и торопит свои рассказы. К сожалению, от этого они не становятся подвижнее. Очень часто Бабель спешит, но не сдвигается с места. Это называется — суетиться. Чтобы продвинуться дальше, он делает прыжок, развитие его рассказов идет по путям неожиданности. Бабель болен авторской внезапностью. Она везде. Ею поражаешься и в неподготовленных рассказах, и в странных диалогах, где говорящие между собой люди не отвечают на вопросы, их речи не связаны репликами, предметы их бесед и все мысли плывут в противоположные стороны.

И это тоже прием, и он тоже обозначает все ту же авторскую неуверенность в себе, боязнь читательского утомления, страх усыпить чужое внимание. Это подстегивание. Это хлыст. У Бабея он бьет не по тому месту. Это не бодрит, а ошарашивает, не взвинчивает, а угнетает.

Но в этой неуверенности Бабель прав. Он пишет в испуге,

но этот испуг не напрасен. У Бабея почти нет сюжетов. Клубок его ниток не разматывается, а спутывается в нервном спехе. Многие из вещей, составивших его сборники, всего только газетные заметки. Встреча с Керенским ("Линия и цвет"), ушедшие с корабля цветные матросы ("Ты проморгал, капитан"), посещение Ипатьевского монастыря ("Конец св. Ипатия"), целый ряд очерков "Конармии" — только интересные корреспонденции, живые фельетоны, впечатления наблюдательного и любознательного человека.

Бабель вообще лишен вымысла. При всей своей нарочитости, азарте, вычурности, словесных и изобретательных выкрутасах, надуманном сочинительстве подробностей, Бабель — раб факта. Он выпускает раскрашенные фотографии. Фотографичность — от действительности; раскрашенность дает Бабею фантазия. Но всегда верна и убедительна у него только жизнь и лжива (а часто и уродлива) раскраска.

Свою нервозность, впечатлительную подвижность, печальную зыбкость Бабель не скрывает ни от себя, ни от нас. Вспоминая о своем детстве, он называет себя "ученым нервическим (нервным) мальчиком", признается, что уже тогда "стал извивающимся клубком"; устанавливает, как "выражалась моя болезнь", откровенно пишет: "И теперь, вспоминая печальные эти годы, я нахожу в них начало недугов, терзающих меня, и причину раннего, ужасного моего увядания".

И, действительно, по всем книгам Бабея, по его темам пролегли печальные отсветы внутреннего недомогания. Чувствуется шаткость. Бабель идет качаясь. Его литературная поступь неверна. У него нет ровного голоса. Мы слышим отдельные нервные вскрики.

Бабель — импрессионист. Его впечатлительность подвижна и рассеянна. Он не умеет сосредоточиваться.

И потому, что он сам это хорошо осознает (или, по крайней мере, ясно ощущает), он неизменно напрягается на изображении отдельного момента. Зная свою авторскую быстротходность и летучесть, он себя привязывает к этому моменту, как к верстовому столбу, чтобы не уклониться, не убежать прочь, не потерять дороги.

Из сознания же слабости, негромкости и невнятности своего литературного голоса он тянется к страшным темам, и у него везде смерть и кровь, выстрелы, изнасилования, бандиты, контрабандисты, погромные ужасы, убийства. И в темах напряженность. И здесь чрезмерность, везде подчеркнутость.

Бабель не верил в простоту и безыскусственность. Он влечется к пестроте, невероятности, массивности, разноцветности. Меж тем, в этой простоте он иногда находит чудесные откровения, тонкую вдохновенность, трогательную красоту ясных и выразительных слов. "Соль" — хороший рассказ, и хороша в нем и "славная ночка", раскинувшаяся шатром, "и в том шатре звезды-каганцы", и бойцы, вспоминающие "кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду".

Конечно, он талантлив. Но и при всей своей талантливости, при всей впечатлительности и наблюдательности, Бабель — жертва. Эта тихая сила невелика, этот автор неплодовит, его путь короток. Это — недолговечность. И когда я вспоминаю мое первое давнее знакомство с маленьким черным Бабелем, его мягкие редкие волосы, его напряженно поднятые брови, его большой лоб и быстрые, суетливые манеры, когда читаю теперь его книги, я понимаю, что и Бабель-автор тоже миниатюрен, и его вещи — миниатюрны, и сам он ласков, тревожен и непрочен. В литературе он стоит, как цапля в поле, — на одной ноге.

Александр Орлов ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...
 ...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...
 ...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...
 ...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...
 ...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...
 ...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...
 ...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...
 ...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...
 ...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги — 15 долларов. Пересылка — 1 доллар.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
 LEONIA, NJ 07605, USA
 Tel.: (201)592-6155



СИМВОЛЫ И ДУХ ХУДОЖНИКА

Мне вспоминается всего лишь несколько ситуаций, когда при первой встрече с работами художника у меня возникало непреодолимое желание стать обладателем одной из них — повесить ее у себя дома и сделать ее как бы спутником своей жизни.

Именно так было, когда я впервые увидел холст Александра в лос-анджелесской квартире моего друга. Через три года в Нью-Йорке я познакомился и с самим художником на его выставке в галерее Нахамкина.

Мое впечатление от его работ, пожалуй, лучше всего выражает строка Иосифа Уткина — "Красивые во всем красивом". Прежде всего они были необычайны по цвету: разнообразие теплых оттенков коричневого и красного, с редким и изящным добавлением холодновато-зеленого, голубого и серого цветов создавало абсолютно своеобразную, я бы сказал, "александровскую" гамму. Она моментально приковывала глаз, запоминалась и позволяла позднее выделить работы художника в любой групповой экспозиции.

Необычны были и "персонажи" его картин: женские образы оставались "надматериальными", несмотря на свою обнаженность и даже чувственность.

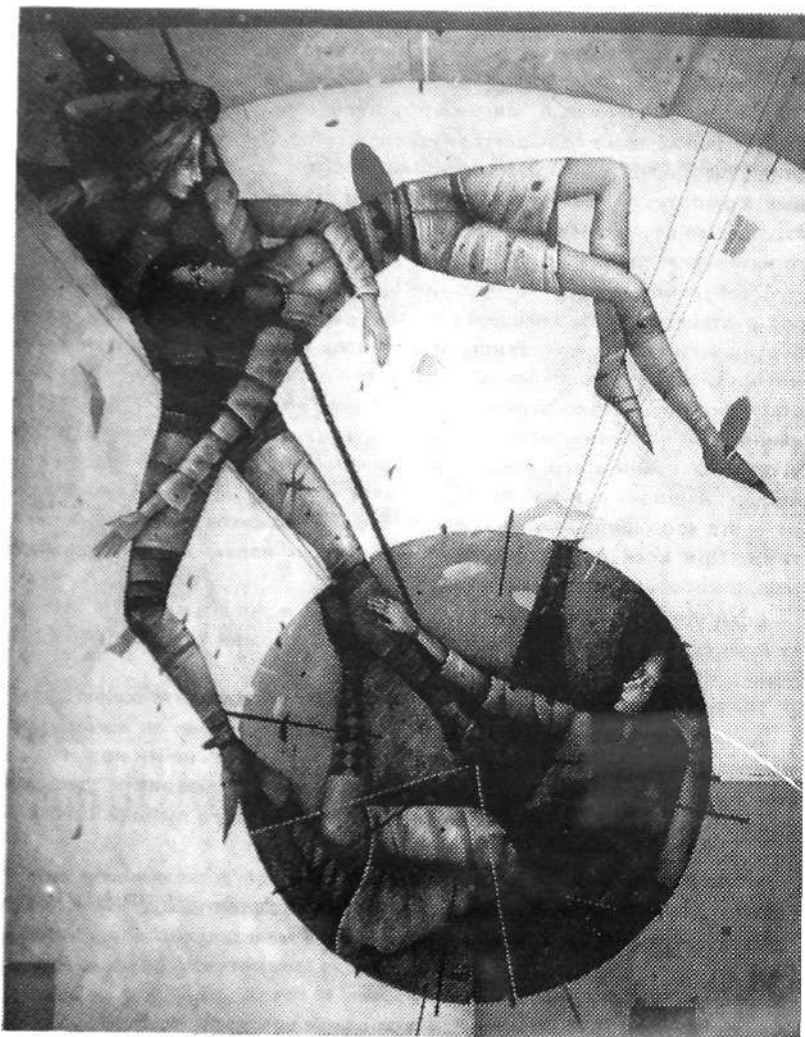
Человек деликатный, мягкий и застенчивый, Александров говорит, что его персонажи воплощают внутренний мир человека, который всегда мягок и женственен. Что же касается его напряженных и причудливых композиций, острых конфликтов и столкновений, то для автора это прежде всего символы внутренней борьбы чувственного и духовного начала в человеке.

Особую роль в творчестве художника сыграло христианство. Он вырос в атеистическом государстве, эмигрировал на Запад в 1980 году, будучи уже зрелым человеком, и в религии нашел ту новую реальность, которую искал всю жизнь. Она стала его "александровской" реальностью. Если искусство отражает внутренний мир художника, то, естественно, для человека, искренне верующего, его вера становится краеугольным камнем его искусства. Именно она подсказала художнику новую символику, и как следствие новую форму. Работы Александрова — это его ощущения жизни, выраженные языком живописи и пластики. При всей их "фантастичности" они не надуманны, а отражают мир, в котором живет художник.

Если уступить соблазну дать определение жанру, в котором работает Александров, то более всего подошел бы термин "психологический реализм".

Несмотря на то, что самой сильной стороной таланта Михаила Александрова является цвет и особое живописное видение, он начал увлеченно экспериментировать в технике офорта, надеясь найти новые средства выразительности. Судя по первым опытам, художник и здесь достигнет той высокой гармонии, которая отличает его лучшие холсты и акварели.

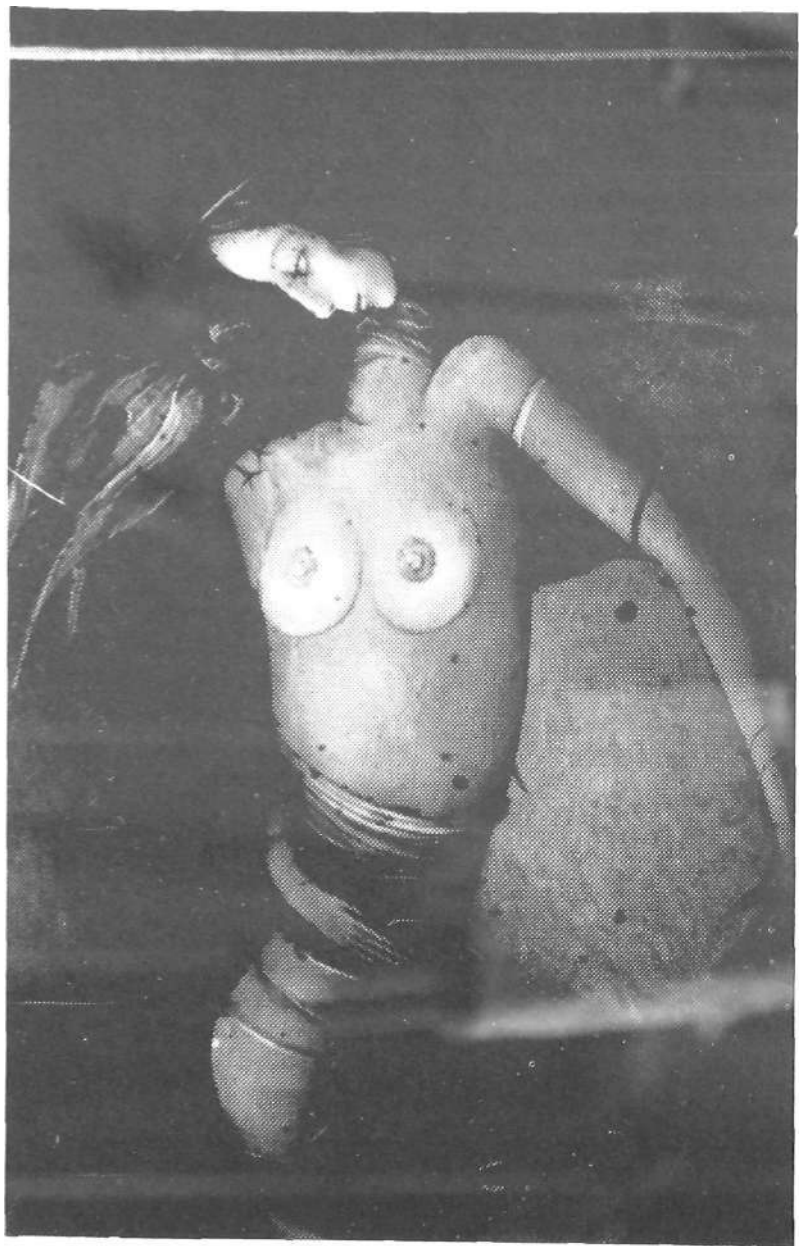
Александр ЩЕДРИНСКИЙ



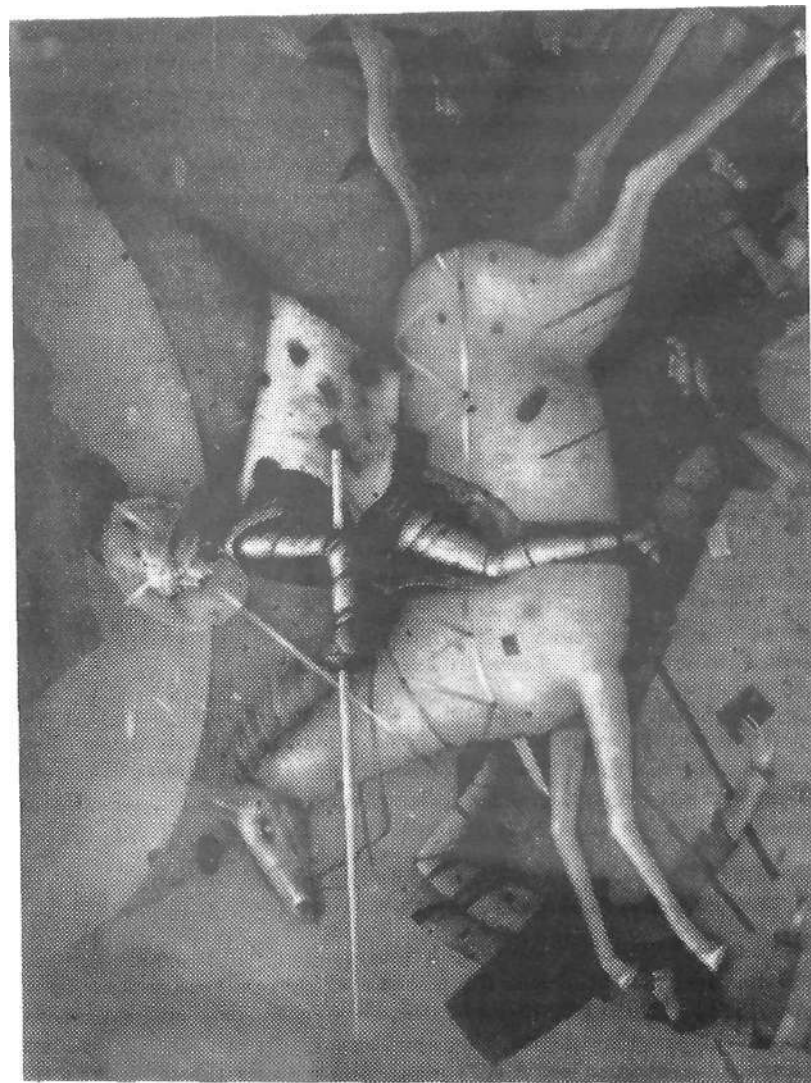
Неустойчивое равновесие. Холст. Масло.



Странник. Фрагмент. Холст. Масло.



Птица. Холст. Масло.



Воин. Холст. Масло.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ДАВИД ФРИДМАН — см. предисловие к его роману "Мендель Маранц".

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН — родился в 1932 г. в Киеве. Окончил сценарные курсы. В 1962 г. опубликовал в журнале "Юность" рассказ "Дом с башней". В 1972 г. по сценарию Горенштейна Андрей Тарковский снял фильм "Солярис". По сценариям Горенштейна поставлено восемь фильмов, в том числе три телевизионных. Однако ни одного прозаического произведения после 1962 г. в России опубликовано не было. С 70-х годов Горенштейн начинает систематически публиковаться на Западе. В журнале "Время и мы" были напечатаны повесть "Искупление" (№ 42), пьеса "Бердичев" (№ 50) и другие произведения. В настоящее время живет в Западном Берлине, в издательстве "Страна и мир" вышла книга Ф. Горенштейна "Псалом".

МИХАИЛ КРЕПС — родился в 1940 году, в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ. Работал преподавателем английского языка и литературы в институте имени Герцена. В СССР не печатался. Эмигрировал в 1974 году. Широко печатается в русскоязычной прессе. Живет в США, где преподает русский язык и литературу.

РОБЕРТ КАЙЗЕР — см. вступительную заметку Б.Шрагина к статье Роберта Кайзера "Советские амбиции".

ЕФИМ ЭТКИНД — писатель, литературовед, переводчик и критик. Во время войны воевал на Карельском и Третьем Украинском фронтах. До отъезда из СССР — член Союза писателей. После войны преподавал в ленинградских вузах, был профессором Ленинградского педагогического института им. А.И.Герцена. В настоящее время живет в Париже, выступает с лекциями в ряде Западных университетов. Под редакцией Е.Г.Эткинда впервые на французском языке вышли поэтические переводы А.С.Пушкина. Под его же редакцией готовятся переводы М.Ю.Лермонтова. Широко известна его книга "Записки незаговорщика", посвященная судьбе творческой интеллигенции в СССР.

ЕВГЕНИЙ МАНИН — родился в 1936 году, в Риге. Окончил историко-филологический факультет в Тарту, по специальности истории Древнего Востока. Занимался археологическими изысканиями в Средней Азии, изучал еврейскую историю и культуру. В США эмигрировал в 1976 году. 1979 год провел в Израиле. В архивах хайфского музея изучал историю древнего искусства. В настоящее время работает переводчиком в одной из фирм Филадельфии.

ЕФИМ МАНЕВИЧ — родился в 1937 году, в Москве. Окончил Московский энергетический институт. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1972 году репатриировался в Израиль. В настоящее время живет в США. Регулярно выступает на страницах журнала "Время и мы".

Петр ПИЛЬСКИЙ — см. вступительную заметку.

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ — родился в 1905 году в Елизаветграде. Учился в Одесском институте народного хозяйства. После революции вступил в молодежное сионистское движение. В Израиль приехал в начале 1928 года. Участвовал в левосоциалистическом рабочем движении. После войны был секретарем Общества Дружбы "Израиль — СССР", из которого вышел в 1959 году в знак протеста против угрозы советского правительства в адрес Израиля. Последние двадцать лет выступает на страницах газет израильской рабочей партии.

Summary for the 94nd "Vremya i My" (Time and We)

DAVID FRIEDMAN, "Mendel Marantz". A humoristic story about the way of life in New York for emigrees at the turn of the century. Many critics feel that this story further develops the traditions of Sholom Alei hem.

FRIEDRICH GORENSTEIN, "Champagne with Gall". The story is about the artistic elite in Moscow. The author depicts the lies and dichotomy of Soviet life and Russian nationalism and chauvinism, which is thriving in certain circles in the USSR.

MIKHAIL KREPS, "Hundreds of Arrested Instances". Contemporary philosophical poetry.

ROBERT KAISER, "Soviet Ambitions". An article by a well-known journalist, and author of the book about the USSR, "Russia: The People and the Power". The author talks about the crisis taking place today within the Soviet system, about its imperious ambitions and its transformation during the Gorbachev epoch.

"Gorbachev's Utopia in the Field of Justice". Commentary on the article by Arkadi Wax berg, published in the "Literary Gazette". The article discusses the attempts of the new Soviet leadership to democratize Soviet justice. The editorial commentary feels that this attempt is doomed, due to its incompatibility with the totalitarianism of the Soviet system.

EFIM ETKIND, "Concern for Human Spirit" Soviet literature for 1986, during Gorbachev's liberalization. (Who is responsible for squelching literature in the past).

SOLOMON ZIRULNIKOV, "Three faces of Israel". The author analyzes the social and political situation in Israel, its past and future.

"FAT" JOURNALS IN THE EMIGRATION AND THE USSR. A critical essay of the magazines "Kontinent" (Continent), "Narod i Zemlya" (People and the Land), "Vestnik R Ch D" (Messenger of the Russian Cristian Movement), "Novii Mir" (New World) and others.

YEVGENY MANIN, "Fear of the Homeland".

EFIM MANEVICH, "The Truth of History and Yevgeny Manin's Shock Effect". Polemics on "Palestine and Emigration".

PYOTR PILSKI, "About Those Whom I Knew". Memoirs of a famous emigre writer and publicist of the 1920's about his contemporaries. Vasili Rozanov, Mikhail Babel, Aleksandr Blok, et al. About the democratic traditions in literature during the "Silver Age".

ИСПРАВЛЕНИЕ ОПЕЧАТОК

В пьесе Фридриха Горенштейна "Детоубийца" допущены опечатки.

Стр. 100, часть 1, сцена 1, начало, следует читать: "Теремные покои Кремлевского дворца".

Стр. 15., Строка 12, следует читать: ... "холопы на базар извет несут и изветные деньги получают".

Стр. 64, строка 13, следует читать: ... "прими удел твой, яко же подобает мужу царской крови..."

В 93 м номере, в "Беседе с "маленьким" бухгалтером" фамилию редактора журнала "Русское самосознание" следует читать — Тетенов.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1987

УСТАНОВЛЕНА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

Стоимость годовой подписки в США — 48 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 55 долларов; для библиотек — 69 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:

"TIME AND WE"

409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605. USA. Tel: (201) 592 6155

Цена в розничной продаже — 12 долларов

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот Мизрах, 422/6 (зав. отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 450 франков; для библиотек — 650; с целью экономической поддержки журнала — 650 франков;

— в Германии — 150 немецких марок; для библиотек — 200; с целью экономической поддержки журнала — 200 марок.

Подписка авиапочтой — 96 долларов.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" - 1987

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на год. Высылать с номера

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу: "Time and We"

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, N J 07605, USA

TEL: (201) 592 6155

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает

MAIN OFFICE: 409 Highwood Ave, Leonia, NJ 07605. USA
Tel: (201)592 6155

Набор на композере Аллы Маневич.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, октябрь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки:
коллаж Вагрича Бахчаняна**

**На четвертой странице обложки:
Михаил Александров. Офорт. Лз кс**

